25 генваря 1856

Великий Торвальдсен начал свое блестящее артистическое поприще вырезыванием орнаментов и тритонов с рыбьими хвостами для тупоносых копенгагенских кораблей. Герой мой тоже, хотя и не так блестящее, но тем не менее артистическое поприще начал растиранием охры и мумии в жерновах и крашеньем полов, крыш и заборов. Безотрадное, безнадежное начинание. Да и много ли вас, счастливцев гениев-художников, которые иначе начинали? Весьма и весьма немного. В Голландии, например, во время самого блестящего золотого ее периода, Остаде , Бергем , Теньер и целая толпа знаменитых художников (кроме Рубенса и Ван-Дейка ) в лохмотьях начинали и кончали свое великое поприще. Несправедливо было бы указывать на одну только меркантильную Голландию. Разверните Вазари и там увидите то же самое, если не хуже. Я говорю потому хуже, что тогда даже политика наместников святого Петра требовала изящной декорации для ослепления толпы и затмения еретического учения Виклефа и Гуса , уже начинавшего воспитывать неустрашимого доминиканца Лютера . И тогда, говорю, когда Лев X и Леон II спохватились и сыпали золото встречному и поперечному маляру и каменщику, и в то золотое время умирали великие художники с голоду, как, например, Корреджио и Цампиери . И так случалося (к несчастию, весьма нередко) всегда и везде, куда только проникало божественное животворящее искусство!

И в наш девятнадцатый просвещенный век, век филантропии и всего клонящегося к пользе человечества, при всех своих средствах отстранить и укрыть жертвы "Карающей богине обреченной".

За что же, вопрос, этим олицетворенным ангелам, этим представителям живой добродетели на земле выпадает почти всегда такая печальная, такая горькая доля? Вероятно, за то, что они ангелы во плоти.

Эти рассуждения ведут только к тому, что отдаляют от читателя предмет, который я намерен ему представить как на ладони.

Летние ночи в Петербурге я почти всегда проводил на улице или где-нибудь на островах, но чаще всего на академической набережной. Особенно мне нравилось это место, когда Нева спокойна и, как гигантское зеркало, отражает в себе со всеми подробностями величественный портик Румянцевского музея, угол сената и красные занавеси в доме графини Лаваль. В зимние длинные ночи этот дом освещался внутри, и красные занавеси, как огонь, горели на темном фоне, и мне всегда досадно было, что Нева покрыта льдом и снегом и декорация теряет свой настоящий эффект.

Любил я также летом встречать восход солнца на Троицком мосту. Чудная, величественная картина!

В истинно художественном произведении есть что-то обаятельное, прекраснее самой природы, — это возвышенная душа художника, это божественное творчество. Зато бывают и в природе такие чудные явления, перед которыми поэт-художник падает ниц и только благодарит творца за сладкие, душу чарующие мгновения.

Я часто любовался пейзажами Щедрина , и в особенности пленяла меня его небольшая картина "Портичи перед закатом солнца". Очаровательное произведение! Но оно меня никогда не очаровывало так, как вид с Троицкого моста на Выборгскую сторону перед появлением солнца.

Однажды, насладившись вполне этою нерукотворною картиною, я прошел в Летний сад отдохнуть. Я всегда, когда мне случалося бывать в Летнем саду, не останавливался ни в одной аллее, украшенной мраморными статуями: на меня эти статуи делали самое дурное впечатление, особенно уродливый Сатурн , пожирающий такое же, как и сам, уродливое свое дитя. Я проходил всегда мимо этих неуклюжих

богинь и богов, и садился отдохнуть на берегу озерка, и любовался прекрасною гранитною вазою и величественною архитектурою Михайловского замка .

Приближаясь к тому месту, где большую аллею пересекает поперечная аллея и где в кругу богинь и богов Сатурн пожирает свое дитя, я чуть было не наткнулся на живого человека в тиковом грязном халате, сидящего на ведре, как раз против Сатурна.

Я остановился. Мальчик (потому что это действительно был мальчик лет четырнадцати или пятнадцати) оглянулся и начал что-то прятать за пазуху. Я подошел к нему ближе и спросил, что он здесь делает.

— Я ничего не делаю, — отвечал он застенчиво. — Иду на работу, да по дороге в сад зашел. — И, немного помолчав, прибавил: — Я рисовал.

— Покажи, что ты рисовал.

И он вынул из-за пазухи четвертку серой писчей бумаги и робко подал мне. На четвертке был назначен довольно верно контур Сатурна.

Долго я держал рисунок в руках и любовался запачканным лицом автора. В неправильном и худощавом лице его было что-то привлекательное, особенно в глазах, умных и кротких, как у девочки.

— Ты часто ходишь сюда рисовать? — спросил я его.

— Каждое воскресенье, — отвечал он, — а если близко где работаем, то и в будни захожу.

— Ты учишься малярному мастерству?

— И живописному, — прибавил он.

— У кого же ты находишься в ученьи?

— У комнатного живописца Ширяева .

Я хотел расспросить его подробнее, но он взял в одну руку ведро с желтой краской, а в другую желтую же обтертую большую кисть и хотел идти.

— Куда ты торопишься?

— На работу. Я и то уж опоздал, хозяин придет, так достанется мне.

— Зайди ко мне в воскресенье поутру, и если есть у тебя какие-нибудь рисунки своей работы, то принеси мне показать.

— Хорошо, я приду, только где вы живете?

Я записал ему адрес на его же рисунке, и мы расстались.

В воскресенье поутру рано я возвратился из всенощной своей прогулки, и в коридоре перед № моей квартиры встретил меня мой новый знакомый, уже не в тиковом грязном халате, а в чем-то похожем на сюртук коричневого цвета, с большим свертком бумаги в руке. Я поздоровался с ним и протянул ему руку; он бросился к руке и хотел поцеловать. Я отдернул руку: меня сконфузило его раболепие. Я молча вошел в квартиру, а он остался в коридоре. Я снял сюртук, надел блузу, закурил сигару, а его все еще нет в комнате. Я вышел в коридор, смотрю, приятеля моего как не бывало. Я сошел вниз, спрашиваю дворника: не видал такого? "Видел, — говорит, — малого с бумагами в руке, выбежал на улицу". Я на улицу — и след простыл. Мне стало грустно, как будто я потерял что-то дорогое мне. Скучал я до следующего воскресенья и никак не мог придумать, что бы такое значил внезапный побег моего приятеля? Дождавшись воскресенья, я во втором часу ночи пошел на Троицкий мост и, полюбовавшись

восходом солнца, пошел в Летний сад, обошел все аллеи, — нет моего приятеля. Хотел было уже идти домой, да вспомнил Аполлона Бельведерского , т. е. пародию на Бельведерского бога, стоящего особнячком у самой Мойки. Я туда. А приятель мой тут как тут. Увидя меня, он бросил рисовать и покраснел до ушей, как ребенок, пойманный за кражею варенья. Я взял его за дрожащую руку и, как преступника, повел в павильон. И мимоходом велел трактирному заспанному гарсону принести чаю.

Как умел, обласкал моего приятеля, и, когда он пришел в себя, я спросил его, зачем он убежал из коридора.

— Вы на меня рассердились. И я испугался, — отвечал он.

— И не думал я на тебя сердиться, — сказал я ему. — Но мне неприятно было твое унижение. Собака только руки лижет, а человек этого не должен делать. — Это сильное выражение так подействовало на моего приятеля, что он опять было схватил мою руку.

Я рассмеялся, а он покраснел, как рак, и стоял молча, потупя голову. Напившись чаю, мы расстались. На расставаньи я сказал ему, чтобы он непременно зашел ко мне или сегодня, или в следующее воскресенье.

Я не имею счастливой способности сразу разгадывать человека, зато имею несчастную способность быстро сближаться с человеком. Потому, говорю, несчастную, что редкое быстрое сближение мне обходилося даром. В особенности с кривыми и косыми: эти кривые и косые дали мне знать себя. Сколько ни случалось мне с ними встречаться, хоть бы один из них порядочный человек. Начисто дрянь. Или это уже мое такое счастье.

Всего третий раз я вижу моего нового знакомого, но я уже с ним сблизился, я уже к нему привязался, уже полюбил его. И действительно, в его физиономии было что-то такое, чего нельзя не полюбить.

Физиономия его, сначала некрасивая, с часу на час делалась для меня привлекательнее. Ведь есть же на свете такие счастливые физиономии!

Я пошел прямо домой, боялся, чтобы не заставить приятеля своего ждать себя в коридоре. Что же? Вхожу на лестницу, а он уже тут. В том же коричневом сюртучке, умытый, причесанный и улыбающийся.

— Ты порядочный скороход, — сказал я. — Ведь ты еще заходил к себе на квартиру? Как же ты успел так скоро?

— Да я торопился, — отвечал он, — чтобы быть дома, как хозяин от обедни придет.

— Разве у тебя хозяин строгий? — спросил я.

— Строгий и...

— И злой, ты хочешь сказать.

— Нет, скупой, хотел я сказать. Он побьет меня, а сам рад будет, что я опоздал к обеду.

Мы вошли в комнату. У меня стояла на мольберте копия с старика Веласкеса , что в Строгановой галерее, и он прильнул к ней глазами. Я взял у него из рук сверток, развернул и стал рассматривать. Тут было все, что безобразит Летний сад, от вертлявых, сладко улыбающихся богинь до безобразного Фраклита и Гераклита . А в заключение несколько рисунков с барельефов, украшающих фасады некоторых домов, в том числе и барельефы из купидонов, украшающие дом архитектора Монферрана, что на углу набережной Мойки и Фонарного переулка.

Одно, что меня поразило в этих более нежели слабых контурах, это необыкновенное сходство с оригиналами, особенно контуры Фраклита и

Гераклита. Они выразительнее были своих подлинников, правда, и уродливее, но все-таки на рисунки нельзя было смотреть равнодушно.

Я в душе радовался своей находке. Мне и в голову тогда не пришло спросить себя, что я буду делать с моими больше нежели ограниченными средствами с этим алмазом в кожуре? Правда, у меня и тогда мелькнула эта мысль, да тут же и окунулась в пословице: "Бог не без милости, козак не без доли".

— Отчего у тебя нет ни одного рисунка оттушеванного? — спросил я его, отдавая ему сверток.

— Я рисовал все эти рисунки поутру рано, до восхода солнца.

— Значит, ты не видал их, как они освещаются?

— Я ходил и днем смотреть на них, но тогда нельзя было рисовать, люди ходили.

— Что же ты намерен теперь делать: остаться у меня обедать или идти домой?

Он, с минуту помолчав и не подымая глаз, едва внятно сказал:

— Я остался бы у вас, если вы позволите.

— А как же ты после разделаешься с хозяином?

— Я скажу, что спал на чердаке.

— Пойдем же обедать.

У мадам Юргенс еще посетителей никого не было, когда мы пришли, и я был очень рад. Мне неприятно было бы встретить какую-нибудь чиновничью выутюженную физиономию, бессмысленно улыбающуюся, глядя на моего, далеко не щеголя, приятеля.

После обеда я думал было повести его в Академию и показать ему "Последний день Помпеи". Но не все вдруг. После обеда я предложил ему или идти погулять на бульвар, или читать книгу. Он выбрал последнее. Я же, чтобы проэкзаменовать его и в этом предмете, заставил читать вслух. На первой странице знаменитого романа Диккенса "Никлас Никльби" я заснул. Но в этом ни автор, ни чтец не повинны: мне просто хотелось спать, потому что я ночью не спал.

Когда я проснулся и вышел в другую комнату, мне как-то приятно бросилась в глаза моя отчаянная студия. Ни окурков сигар, ни табачного пеплу нигде не было заметно, везде все было убрано и выметено, даже палитра, висевшая на гвозде с засохшими красками, и она была вычищена и блестела как стеклышко; а виновник всей этой гармонии сидел у окна и рисовал маску знаменитой натурщицы Торвальдсена Фортунаты.

Все это было для меня чрезвычайно приятно. Эта услуга явно говорила в его пользу. Я, однако ж, не знаю почему, не дал ему заметить моего удовольствия. Поправил ему контур, проложил тени, и мы отправились в "Капернаум" чай пить. "Капернаум" — сиречь трактир "Берлин" на углу Шестой линии и Академического переулка. Так окрестил его, кажется, Пименов во время своего удалого студенчества.

За чаем рассказал он мне про свое житье-бытье. Грустный, печальный рассказ. Но он рассказал его так наивно-просто, без тени ропота и укоризны. До этой исповеди я думал о средствах к улучшению его воспитания, но, выслушавши исповедь, и думать перестал. Он был крепостной человек.

Меня так озадачило это грустное открытие, что я потерял всякую надежду на его переобразование. Молчание длилось по крайней мере полчаса. Он разбудил меня от этого столбняка своим плачем. Я взглянул на него и спросил, чего он плачет? "Вам неприятно, что я..." Он не договорил и залился слезами. Я разуверил его, как мог, и мы возвратились ко мне на квартиру.

Дорогой встретился нам старик Венецианов . После первых приветствий он пристально посмотрел на моего товарища и спросил, добродушно улыбаясь:

— Не будущий ли художник?

Я сказал ему:

— И да, и нет.

Он спросил причину. Я объяснил ему шепотом. Старик задумался, пожал мне крепко руку, и мы расстались.

Венецианов своим взглядом, своим пожатием руки как бы упрекнул меня в безнадежности. Я ободрился и, вспомнив некоторых художников, учеников и воспитанников Венецианова, увидел, правда неясно, что-то вроде надежды на горизонте.

Protege мой ввечеру, прощаясь со мною, просил у меня какого-нибудь эстампика срисовать. У меня случился один экземпляр, в то время только что напечатанный, "Геркулес Фарнезский", выгравированный Служинским по рисунку Завьялова, и еще "Аполлино" Лосенка . Я завернул оригиналы в лист петергофской бумаги, снабдил его италианскими карандашами, дал наставление, как предохранять их от жесткости, и мы вышли на улицу. Он пошел домой, а я к старику Венецианову.

Не место, да и некстати распространяться здесь об этом человеколюбце-художнике; пускай это сделает один из многочисленных учеников его, который подробнее меня знает все его великодушные подвиги на поприще искусства.

Я рассказал старику все, что знал о моей находке, и просил его совета, как мне действовать на будущее время, чтобы привести дело к желаемым результатам. Он, как человек практический в делах такого рода, не обещал мне и не советовал ничего положительного.

Советовал только познакомиться с его хозяином и по мере возможности стушевывать его настоящее жесткое положение.

Я так и сделал. Не дожидаясь воскресенья, я на другой день до восхода солнца пошел в Летний сад, но увы! не нашел там моего приятеля; на другой день тоже, на третий тоже. И я решился ждать, что воскресенье скажет.

В воскресенье поутру явился мой приятель. И на спрос мой, почему он не был в Летнем саду, сказал мне, что у них началася работа в Большом театре (в то время Кавос переделывал внутренность Большого театра) и что по этой причине он теперь не может посещать Летний сад.

И это воскресенье мы провели с ним, как и прошедшее. Ввечеру, уже расставаясь, я спросил имя его хозяина и в какие часы он бывает на работе.

На следующий же день я зашел в Большой театр и познакомился с его хозяином. Расхвалил безмерно его припорохи и потолочные чертежи собственной его композиции, чем и положил прочный фундамент нашему знакомству.

Он был цеховой мастер живописного и малярного цеха. Держал постоянно трех, иногда и более замарашек в тиковых халатах под именем учеников и, смотря по надобности, от одного до десяти нанимал, поденно и помесячно, костромских мужичков — маляров и стекольщиков, — следовательно, он был в своем цеху не последний мастер и по искусству, и по капиталу. Кроме помянутых материальных качеств, я у него увидел несколько гравюр на стенах, Одрана и Вольпато , а на комоде несколько томов книг, в том числе и "Путешествие Анахарсиса Младшего" . Это меня ободрило. Но, увы! когда я ему издалека намекнул об улучшении состояния его тиковых учеников, он удивился такой дикой мысли и начал мне доказывать, что это не повело бы ни к чему больше, как к собственной их же гибели.

На первый раз я ему не противоречил. Да и напрасно было б уверять его в противном. Люди материальные и неразвитые, прожившие свою скудную юность в грязи и испытаниях и кое-как выползшие на свет божий, не веруют ни в какую теорию. Для них не существует других путей к благосостоянию, кроме тех, которые они сами прошли. А часто к этим грубым убеждениям примешивается еще грубейшее чувство: меня, дескать, не гладили по головке, за что я буду гладить?

Мастер живописного цеха, кажется, не чужд был этого античеловеческого чувства. Мне, однако, со временем удалося уговорить его, чтобы он не препятствовал моему protege посещать меня по праздникам и в будни, когда работы не бывает, например, зимою. Он хотя и согласился, но все-таки смотрел на это как на баловство, совершенно ни к чему не ведущее, кроме погибели. Он чуть-чуть не угадал.

Минуло лето и осень, настала зима. Работы в Большом театре были окончены, театр открыт, и очаровательница Тальони начала свои волшебные операции. Молодежь из себя выходила, а старичье просто бесновалось. Одни только суровые матроны и отчаянные львицы упорно дулися и во время самых неистовых аплодисментов с презрением произносили "Mauvais genre". А неприступные пуританки хором

воскликнули: "Разврат! разврат! открытый публичный разврат!" И все эти ханжи и лицемерки не пропускали ни одного спектакля Тальони. И когда знаменитая артистка согласилася быть princesse Troubeckoy — они первые оплакивали великую потерю и осуждали женщину за то, чего сами не могли сделать при всех косметических средствах.

Карл Великий (так называл покойный Василий Андреевич Жуковский покойного же Карла Павловича Брюллова) безгранично любил все прекрасные искусства, в чем бы они ни проявлялись, но к современному балету он был почти равнодушен, и если говорил он иногда о балете, то не иначе, как о сахарной игрушке. В заключение своего триумфа Тальони протанцевала качучу в балете "Хитана" . В тот же вечер разлетелася качуча по всей нашей Пальмире . А на другой день она уже владычествовала в палатах аристократа и в скромном уголке коломенского чиновника. Везде качуча: и дома, и на улице, и за рабочим столом, и в трактире, и... за обедом, и за ужином — словом, всегда и везде качуча. Не говорю уже про вечера и вечеринки, где качуча сделалась необходимым делом. Это все ничего, красоте и юности все это к лицу. А то почтенные матери и даже отцы семейств — и те туда же. Это просто была болезнь св. Витта в виде качучи. Отцы и матери вскоре опомнились и нарядили в хитан своих едва начинавших ходить малюток. Бедные малютки, сколько вы слез пролили из-за этой проклятой качучи! Но зато эффект был полный, эффект, дошедший до спекуляции. Например, если у амфитриона не имелося собственного карапузика, то вечеринка украшалася карапузиком-хитаном, взятым напрокат.

Свежо предание, а верится с трудом.

В самый разгар качучемании посетил меня Карл Великий (он любил посещать своих учеников), сел на кушетке и задумался. Я молча любовался его умной кудрявой головой. Через минуту он быстро поднял глаза, засмеялся и спросил меня:

— Знаете что?

— Не знаю, — ответил я.

— Сегодня Губер (переводчик "Фауста") обещал мне достать билет на "Хитану". Пойдемте.

— В таком случае пошлите своего Лукьяна к Губеру, чтобы он достал два билета.

— Не сбегает ли этот малый? — сказал он, показывая на моего протеже.

— И очень сбегает, пишите записку.

На лоскутке серой бумаги он написал итальянским карандашом: "Достань два билета. К. Брюллов". К этому лаконическому посланию я прибавил адрес, и Меркурий мой полетел.

— Что это у вас, модель или слуга? — спросил он, показывая на затворяющуюся дверь.

— Ни то, ни другое, — отвечал я.

— Физиономия его мне нравится: не крепостная.

— Далеко не крепостная, а между тем... — Я не договорил, остановился.

— А между тем он крепостной? — подхватил он.

— К несчастью, так, — прибавил я.

— Барбаризм! — прошептал он и задумался. После минуты раздумья он бросил на пол сигару, взял шляпу и вышел, но сейчас же воротился и

сказал: — Я Дождусь его, мне хочется еще взглянуть на его физиономию. — И, закуривая сигару, сказал: — Покажите мне его работу!

— Кто вам подсказал, что у меня есть его работа?

— Должна быть, — сказал он решительно. Я показал ему маску Лаокоона , рисунок оконченный, и следок Микеланджело, только проложенный. Он долго смотрел на рисунки, т. е. держал в руках рисунки, а смотрел — бог его знает, на что он смотрел тогда.

— Кто его господин? — спросил он, подняв голову.

Я сказал ему фамилию помещика.

— О вашем ученике нужно хорошенько подумать. Лукьян обещался угостить меня ростбифом, приходите обедать. — Сказавши это, он подошел к двери и опять остановился: — Приведите его когда-нибудь ко мне. До свидания. — И он вышел.

Через четверть часа возвратился мой Меркурий и объявил, что они, т. е. Губер, хотели сами зайти к Карлу Павловичу.

— А знаешь ли ты, кто такой Карл Павлович? — спросил я его.

— Знаю, — ответил он, — только я его никогда в лицо не видел.

— А сегодня?

— Да разве это он был?

— Он.

— Зачем же вы мне не сказали, я хоть бы взглянул на него. А то я думал, так просто какой-нибудь господин. Не зайдет ли он к вам еще когда-нибудь? — спросил он после некоторого молчания.

— Не знаю, — сказал я и начал одеваться.

— Боже мой, боже Мой! Как бы мне на него хоть издали посмотреть. Знаете, — продолжал он, — я, когда иду по улице, все об нем думаю и смотрю на проходящих, ищу глазами его между ними. Портрет его, говорите, очень похож, что на "Последнем дне Помпеи"?

— Похож, а ты все-таки не узнал его, когда он был здесь. Ну, не горюй, если он до воскресенья не зайдет ко мне, то в воскресенье мы с тобой сделаем ему визит. А пока вот тебе билет к мадам Юргенс. Я сегодня дома не обедаю.

Сделавши такое распоряжение, я вышел.

В мастерской Брюллова я застал В. А. Жуковского и М. Ю. графа Вельегорского. Они любовались еще не оконченной картиной "Распятие Христа", писанной для лютеранской церкви Петра и Павла. Голова плачущей Марии Магдалины уже была окончена, и В. А. Жуковский, глядя на эту дивную плачущую красавицу, сам заплакал и, обнимая Карла Великого, целовал его, как бы созданную им красавицу.

Нередко случалось мне бывать в Эрмитаже вместе с Брюлловым. Это были блестящие лекции теории живописи. И каждый раз лекция заключалась Теньером и в особенности его "Казармой". Перед этой картиной надолго, бывало, он останавливался и после восторженного, сердечного панегирика знаменитому фламандцу говаривал:

— Для этой одной картины можно приехать из Америки.

То же самое можно теперь сказать про его "Распятие" и в особенности про голову рыдающей Марии Магдалины.

После объятий и поцелуев Жуковский вышел в другую комнату; Брюллов, увидевши меня, улыбнулся и пошел за Жуковским. Через полчаса они возвратились в мастерскую, и Брюллов, подойдя ко мне, сказал улыбаясь: "Фундамент есть". В это самое время дверь растворилась, и вошел Губер, уже не в путейском мундире, а в черном щегольском фраке. Едва успел он раскланяться, как подошел к нему Жуковский и, дружески пожимая ему руку, просил его прочитать последнюю сцену из "Фауста", и Губер прочитал. Впечатление было полное, и поэт был награжден искренним поцелуем поэта.

Вскоре Жуковский и граф Вельегорский вышли из мастерской, и Губер на просторе прочитал нам новорожденную "Терпсихору", после чего Брюллов сказал:

— Я решительно не еду смотреть "Хитану".

— Почему? — спросил Губер.

— Чтобы сохранить веру в твою "Терпсихору" .

— Как так?

— Лучше веровать в прекрасный вымысел, нежели...

— Да ты хочешь сказать, — прервал его поэт, — что мое стихотворение выше божественной Тальони. Мизинца! ногтя на ее мизинце не стоит, богом тебе божусь. Да, я чуть было не забыл: мы сегодня у Александра едим макароны и стофатто с лакрима-кристи . Там будет Нестор, Миша и cetera, cetera... И, в заключение, Пьяненко. Едем! — Брюллов взял шляпу. — Ах, да! Я и забыл... — продолжал Губер, вынимая из кармана билеты. — Вот тебе два билета, а после спектакля

к Нестору на биржу (так в шутку назывались литературные вечера Н. Кукольника).

— Помню, — отвечал Брюллов и, надевая шляпу, подал мне билет.

— И вы с нами? — сказал Губер, обращаясь ко мне.

— И я с вами, — ответил я.

— Едем! — сказал Губер, и мы вышли на коридор. Лукьян, затворяя двери, проворчал:

— Вот тебе и ростбиф!

После макарон, стофатто и лакрима-кристи компания отправилась на биржу, а мы, т. е. я, Губер и Карл Великий, пошли в театр. В ожидании увертюры я любовался произведениями моего protege. (Для всех орнаментов и арабесок, украшающих плафон Большого театра, рисунки были сделаны им по указаниям архитектора Кавоса. Это сообщил мне не сам он и не честолюбивый его хозяин, а машинист Карташов, который присутствовал постоянно при работах и по утрам рано угощал чаем моего протеже). Я хотел было сказать Брюллову про арабески своего ученика, но увертюра грянула. Все, в том числе и я, устремили глаза на занавесь. Увертюра кончилась, занавесь вздрогнула и поднялась. Начался балет. До качучи все шло благополучно, публика держала себя как и всякая благовоспитанная публика. С первым ударом кастаньет все вздрогнуло и затрепетало. Аплодисменты тихо, как раскаты грома вдали, пронеслись по зале, потом громче и громче, и — качуча кончена, — и гром разразился. Благовоспитанная публика, в том числе и я, грешный, взбеленилась, ревет, кто во что гаразд: кто браво, кто da capo , а кто только стонет да ногами и руками работает. После первого припадка взглянул я на Карла Великого, а у него, бедного, пот катится — работает руками и ногами и что есть духу кричит: "Da capo!" Губер тоже. Я немного перевел дух да и себе ну валять за учителем.

Мало-помалу ураган начал стихать, и в десятый раз вызванная чаровница выпорхнула на сцену и после нескольких самых грациозных приседаний исчезла. Тогда Карл Великий встал, вытер пот с чела и, обращаясь к Губеру, сказал:

— Пойдем на сцену, познакомь меня с ней.

— Пойдем, — сказал Губер восторженно, и мы пошли за кулисы.

За кулисами уже роилась толпа поклонников, состоящая большей частью из почтенных лысин, очков и биноклей. Мы и себе пристроились к толпе. Не без труда просунулись мы в центр этой массы. И боже, что мы там увидели! Порхающая, легкая, как зефир, очаровательница лежала в вольтеровских креслах с разинутым ртом и раздутыми, как у арабской лошади, ноздрями, а по лицу, как мутные ручьи весной, текут смешанные с потом белила и румяна.

— Отвратительно! — сказал Карл Великий и обратился вспять. Я за ним, а бедный Губер! Воистину бедный! Он только что кончил приличный случаю комплимент и, произнеся фамилию Брюллова, оглянулся вокруг себя, а Брюллов исчез. Не знаю, как он выпутался из беды.

Оставался еще один акт балета, но мы оставили театр, чтобы не портить десерта капустой, как выразился Брюллов. Не знаю, посещал ли он балет после "Хитаны", знаю только, что он никогда не говорил о балете.

Обращаюсь к моему герою. После слов, сказанных мне Брюлловым: "Фундамент положен", в воображении моем надежда начала принимать более определенные формы. Я начал думать, чем бы лучше занять своего ученика. Домашние средства мои ничтожны. Я думал об античной галерее. Андрей Григорыч (смотритель галереи), пожалуй, и согласился бы, да в галерее статуи так освещены, что рисовать

невозможно. После долгих размышлений я с двугривенным обратился к живому Ангиною , натурщику Тарасу, чтобы он в неклассные часы пускал моего ученика в гипсовый класс. Так и сделано. В продолжение недели (он и обедал в классе) нарисовал он голову Люция Вера , распутного наперсника Марка Аврелия, и голову "Гения", произведение Кановы . Потом перевел я его в фигурный класс и велел ему на первый раз нарисовать анатомию с четырех сторон. В свободное время я приходил в класс и поощрял неутомимого труженика фунтом ситника и куском колбасы. А постоянно он обедал куском черного хлеба с водою, если Тарас воды принесет. Бывало, и я полюбуюсь Бельведерским торсом да не утерплю и сяду рисовать. Дивное, образцовое произведение древней скульптуры! Недаром слепой Микеланджело ощупью восхищался этим куском отдыхающего Геркулеса. И странно. Некий господин Герсеванов в своих путевых впечатлениях так художнически верно оценивает педантическое произведение Микеланджело "Страшный суд" , фрески божественного Рафаэля и многие другие знаменитые произведения скульптуры и живописи, а в торсе Бельведерском видит только кусок мрамора, ничего больше. Странно!

После анатомии сделал он рисунок Германика и танцующего фавна . И в одно прекрасное утро я его представил Карлу Великому. Восторг его был неописанный, когда Брюллов ласково и снисходительно похвалил его рисунки.

Я в жизнь мою не видал веселее, счастливее человека, как он был в продолжение нескольких дней. "Неужели он всегда такой добрый, такой ласковый?" — спрашивал он меня несколько раз. "Всегда", — отвечал я. "И эта красная — любимая его комната?" — "Любимая", — отвечал я. "Все красное! Комната красная, диван красный. Занавеси у окна красные. Халат красный и рисунок красный, все красное! Увижу ли я еще его когда-нибудь так близко?" И после этого вопроса он начинал плакать. Я, разумеется, не утешал его. Да и какое участие, какая утеха может быть выше этих счастливых, этих райских, божественных слез? "Все красное! " — повторял он сквозь слезы.

Красная комната, увешанная большею частию восточным дорогим оружием, сквозь прозрачные красные занавеси освещенная солнцем, меня, привыкшего к этой декорации, на минуту поразила, а ему она осталася памятною до гроба. После долгих и страшных испытаний забыл он все: и искусство, духовную жизнь свою, и любовь, отравившую его, и меня, искреннего друга своего, — все и все забыл; красная декорация и Карл Павлович было его последним словом.

На другой день после этого визита встретился я с Карлом Павловичем, и он спросил у меня адрес, имя и фамилию его господина. Я сообщил ему. Он взял извозчика и уехал, сказавши мне:

— Вечером зайдите!

Ввечеру я зашел.

— Это самая крупная свинья в торжевских туфлях! — этими словами встретил меня Карл Павлович.

— В чем дело? — спросил я его, догадавшись, о ком идет речь.

— Дело в том, что вы завтра сходите к этой амфибии, чтобы он назначил цену вашему ученику.

Карл Великий был не в духе. Долго он молча ходил по комнате, наконец плюнул и проговорил:

— Вандализм! Пойдемте наверх, — прибавил он, обращаясь ко мне, и мы молча пошли в верхние комнаты, где помещались его спальня, библиотека и вместе столовая.

Он велел подать лампу. Попросил меня читать что-нибудь вслух, а сам сел кончать рисунок — сепию "Спящая одалиска" для альбома, кажется, Владиславлева.

Мирные занятия наши, однако ж, продолжались недолго. Его, как видно, все еще преследовала свинья в торжевских туфлях.

— Пойдемте на улицу, — сказал он, закрывая рисунок.

Мы вышли на улицу, долго ходили по набережной, потом вышли на Большой проспект.

— Что, он у вас теперь дома? — спросил он меня.

— Нет, — отвечал я, — он у меня не ночует.

— Ну, так пойдемте ужинать. — И мы зашли к Дели.

Я видел немало на своем веку разного разбора русских помещиков: и богатых, и средней руки, и хуторян. Видел даже таких, которые постоянно живут во Франции и в Англии и с восторгом говорят о благосостоянии тамошних фермеров и мужичков, а у себя дома последнюю овцу у мужика грабят. Видел я много оригиналов в этом роде. Но такого оригинала, русского человека, который бы грубо принял у себя в доме К. Брюллова, не видал.

Любопытство мое в сильной степени было возбуждено; я долго не мог заснуть, все думал и спрашивал сам себя, что это такое за свинья в торжевских туфлях. Любопытство мое однако ж охладело, когда я на другой день поутру стал надевать фрак. Благоразумие взяло верх. Благоразумие говорило мне, что эта свинья не такая интересная редкость, чтобы из-за нее жертвовать собственным самолюбием, хотя дело требовало и большей жертвы. Но вот вопрос: а если и я, по примеру моего великого учителя, не выдержу пытки? Тогда что?

Подумавши немного, я снял фрак, надел свое повседневное пальто и отправился к старику Венецианову. Он практик в подобных делах, ему,

верно, не раз и не два приходилось иметь стычки с этими оригиналами, стычки, из которых он выходил с честью.

Венецианова я застал уже за работою. Он делал тушью рисунок собственной же картины "Мать учит дитя молиться богу". Рисунок этот предназначался для альманаха Владиславлева "Утренняя заря".

Я объяснил ему причину несвоевременного визита, сообщил адрес амфибии, и старик оставил работу, оделся, и мы вышли на улицу. Он взял извозчика и уехал, а я возвратился на квартиру, где уже и застал моего веселого, счастливого ученика. Веселость его и счастливость как будто омрачалась чем-то. Он был похож на человека, желающего поделиться с приятелем великою тайною, но и боится, чтобы эта тайна не сделалась не тайной. Прежде чем я снял пальто и надел блузу, я заметил, что с моим приятелем что-то так, да не так.

— Ну, что же у тебя новенького? — спросил я его. — Что ты делал вчера ввечеру? Как поживает твой хозяин?

— Хозяин ничего, — отвечал он, запинаясь. — Я читал "Андрея Савояра", пока не легли спать, а потом зажег стеариновую свечу, что вы мне дали, и рисовал.

— Что же ты рисовал? — спросил я его. — С эстампа или так что-нибудь?

— Так, — сказал он краснея. — Я недавно читал сочинения Озерова , и мне понравился "Эдип в Афинах", так я пробовал компоновать...

— Это хорошо. Ты принес с собой свою композицию? Покажи мне ее.

Он вынул из кармана небольшой сверток бумаги и, дрожащими руками развертывая его и подавая мне, проговорил:

— Не успел пером обрисовать.

Это было первое его сочинение, которое с таким трудом решился он показать мне. Мне понравилась его скромность, или, лучше сказать, робость: это верный признак таланта. Мне понравилось также и самое сочинение его по своей несложности: Эдип, Антигона и вдали Полиник. Только три фигуры. В первых опытах редко встречается подобный лаконизм. Первоначальные опыты всегда многосложны. Молодое воображение не сжимается, не сосредоточивается в одно многоговорящее слово, в одну ноту, в одну черту. Ему нужен простор, оно парит и в парении своем часто запутывается, падает и разбивается о несокрушимый лаконизм.

Я похвалил его за выбор сцены, посоветовал читать, кроме поэзии, историю, а больше всего и прилежнее срисовывать хорошие эстампы, как, например, с Рафаэля, Вольпато или с Пуссена, Одрана.

— И те, и другие есть у твоего хозяина, вот и рисуй в свободное время. А книги я тебе буду доставать. — И тут же снабдил его несколькими томами Гилиса ("История древней Греции") .

— У хозяина, — проговорил он, принимая книги, — кроме тех, что на стенах висят, у него полная портфель эстампов, но он мне не позволяет рисовать с них: боится, чтобы я не испортил. Да... — продолжал он, улыбаясь, — я сказал ему, что вы водили меня к Карлу Павловичу и показывали мои рисунки, и что... — тут он запнулся, — и что он... да, впрочем, я сам тому не верю.

— Что же? — подхватил я. — Он не верит, что Брюллов похвалил твои рисунки?

— Он не верит, чтобы я и видел Карла Павловича, и назвал меня дураком, когда я его уверял.

Он хотел еще что-то говорить, как в комнату вошел Венецианов и, снимая шляпу, сказал усмехаясь:

— Ничего не бывало! Помещик как помещик! Правда, он меня с час продержал в передней. Ну, да это уж у них обычай такой. Что делать, обычай — тот же закон. Принял меня у себя в кабинете. Вот кабинет мне его не понравился. Правда, что все это роскошно, дорого, великолепно, но все это по-японски великолепно. Сначала я повел речь о просвещении вообще и о филантропии в особенности. Он молча долго меня слушал со вниманием и наконец прервал: "Да вы скажите прямо, просто, чего вы хотите от меня с вашим Брюлловым? Одолжил он меня вчера. Это настоящий американский дикарь!" И он громко захохотал. Я было сконфузился, но вскоре оправился и хладнокровно, просто объяснил ему дело. "Вот так бы давно сказали, а то филантропия! Какая тут филантропия! Деньги, и больше ничего! — прибавил он самодовольно. — Так вы хотите знать решительную цену? Так ли я вас понял? " Я ответил: "Действительно так". — "Так вот же вам моя решительная цена: 2500 рублей! Согласны?" — "Согласен", — отвечал я. "Он человек ремесленный, — продолжал он, — при доме необходимый..." И еще что-то хотел он говорить. Но я поклонился и вышел. И вот я перед вами, — прибавил старик улыбаясь.

— Сердечно благодарю вас.

— Вас благодарю сердечно! — сказал он, крепко пожимая мне руку. — Вы мне доставили случай хоть что-нибудь сделать в пользу нашего прекрасного искусства и видеть, наконец, чудака; чудака, который называет нашего великого Карла американским дикарем. — И старик добродушно засмеялся. — Я, — после смеха сказал он, — я положил свою лепту. Теперь за вами дело. А в случае неудачи я опять обращусь к Аглицкому клубу . До свидания пока.

— Пойдемте вместе к Карлу Павловичу, — сказал я.

— Не пойду, да и вам не советую. Помните пословицу: "Не вовремя гость хуже татарина", тем паче у художника, да еще и поутру. Это бывает хуже целой орды татар.

— Вы меня заставляете краснеть за сегодняшнее утро, — проговорил он.

— Нисколько. Вы поступили как истинный християнин. Для труда и отдыха мы определили часы. Но для доброго дела нет назначенных часов. Еще раз сердечно благодарю вас за ваш сегодняшний визит. До свидания! Мы сегодня обедаем дома. Приходите. Бельведерского если увидите, тащите и его за собой, — прибавил он уходя. Бельведерским называл он Аполлона Николаевича Мокрицкого , ученика Брюллова и страстного поклонника Шиллера.

На улице расстался я с Венециановым и пошел сообщить Карлу Павловичу результат собственной дипломатии. Но увы! даже Лукьяна не нашел. Липин, спасибо ему, выглянул из кухни и сказал, что они ушли в портик. Я в портик — и там заперто. (Портиком называлось у нас здание за теперешним академическим садом, где помещались мастерские Брюллова, барона Клодта , Зауервейда и Басина ). Через Литейный двор я вышел на улицу и, проходя мимо лавки Довициелли, увидел в окне кудрявый профиль Карла Великого. Увидя меня, он вышел на улицу.

— Ну что? — спросил он.

— Где вы сегодня обедаете? — спросил я.

— Не знаю, а что?

— А вот что, — говорю я, — пойдемте к Венецианову обедать, он вам такие чудеса расскажет про амфибию, каких вы, наверное, никогда не слыхали да никогда и не услышите.

— Хорошо, пойдем, — сказал он, и мы отправились к Венецианову.

За обедом старик рассказал нам историю своего сегодняшнего визита, и, когда дошла речь до американского дикаря, все мы захохотали, и обед кончился истерическим смехом.

Между Большим и Средним проспектом, в Седьмой линии, в доме Кастюрина нанималася большая квартира Обществом поощрения художников для своих пяти пансионеров. Кроме комнат, занимаемых пансионерами, там еще были две учебные залы, украшенные античными статуями, как-то: Венерой Медицийской, Аполлино, Германиком и группою гладиаторов. Этот приют (вместо гипсового класса под покровительством Тараса-натурщика) я прочил для своего ученика. Кроме сказанных статуй, там был еще человеческий скелет, а познание скелета для него было необходимо; тем более что он наизусть рисовал анатомическую статую Фишера, а о скелете не имел понятия.

С такою-то благою целью, на другой день после обеда у Венецианова, сделал я визит бывшему тогда секретарю Общества В. И. Григоровичу и испросил у него позволения моему ученику посещать пансионерские учебные залы.

Обязательный Василий Иванович дал мне в виде билета на вход записку к художнику Головне, живущему вместе с пансионерами в виде старшины.

Не следовало бы мне останавливаться на таком жалком явлении, как художник Головня, но как он явление редкое, тем более редкое между художниками, то я и скажу о нем несколько слов.

Сильно, резко нарисованная фигура Плюшкина бледнеет перед этим антихудожником Головнею. У Плюшкина по крайней мере была юность, а следовательно, и радость, хоть не полная, не ликующая радость, но

все-таки радость, а у этого бедняка ничего и похожего не было на юность и на радость.

Он был пансионером Общества поощрения художников, и когда он, по конкурсу Академии художеств, должен был исполнить программу на вторую золотую медаль (сюжет программы был: Адам и Ева над трупом своего сына Авеля), для исполнения картины понадобилась женская модель; а ее в Петербурге не легко, а главное, не дешево достать можно. Парень смекнул делом и отправился к щедрому покровителю художников и тогдашнему президенту Общества поощрения художников Кикину просить вспомоществования, т. е. денег для наемки натурщицы. И, получивши сторублевую ассигнацию, зашил ее в тюфяк, а первозданную красавицу написал с куклы, которую употребляют живописцы для драпировок.

Кто знает, что значит золотая медаль для молодого художника, тот поймет отвратительную душонку юноши-скареды. Перед ним Плюшкин просто мотыга.

Этому-то нравственному уроду представил я при записке моего нравственно прекрасного найденыша.

На первый раз я сам вынул из шкафа скелет, усадил его на стуле в позиции самого отчаянного кутилы и, легкими чертами назначивши общее положение скелета, предложил ученику своему нарисовать подробности.

Через два дня я с великим удовольствием сравнивал его рисунок с анатомическими литографированными рисунками Васина и находил подробности отчетливее и вернее. Но это, может быть, увеличительное стекло виновато, в которое я смотрел на своего найденыша. Как бы то ни было, только мне его рисунок нравился.

Он продолжал в разных положениях рисовать скелет и, под покровительством натурщика Тараса, статую повешенного Аполлоном Мидаса .

Все это шло своим чередом; и своим же чередом зима уходила, а весна близилась. Ученик мой заметно стал худеть, бледнеть и задумываться.

— Что с тобою? — я спрашивал его. — Здоров ли ты?

— Здоров, — отвечал он печально.

— Чего же ты плачешь?

— Я не плачу, я так. — И слезы ручьем лилися из его выразительных прекрасный очей.

Я не мог разгадать, что все это значит? И начинал уже я думать, не стрела ли злого амура поразила его непорочное молодое сердце, как в одно почти весеннее утро он сказал мне, что ежедневно посещать меня не может, потому что с понедельника начнутся работы и он должен будет опять заборы красить.

Я как мог ободрял его. Но о намерениях Карла Павловича не говорил ему ни слова, и более потому, что сам я положительно ничего такого не знал, на чем бы можно было основать надежду.

В воскресенье посетил я его хозяина с тем намерением, что нельзя ли будет заменить моего ученика обыкновенным, простым маляром.

— Почему нельзя? Можно, — отвечал он. — Пока еще живописные работы не начались. А тогда уж извините. Он у меня рисовальщик. А рисовальщик, вы сами знаете, что значит в нашем художестве. Да вы

как полагаете? — продолжал он. — В состоянии ли он будет поставить за себя работника?

— Я вам поставлю работника.

— Вы? — с удивлением спросил он меня. — Да из какой радости, из какой корысти вы-то хлопочете?

— Так, — отвечал я. — От нечего делать. Для собственного удовольствия.

— Хорошо удовольствие! Зря сорить деньгами. Видно, у вас их и куры не клюют? — И, улыбнувшись самодовольно, он продолжал: — Например, по скольку вы берете за портрет?

— Каков портрет, — отвечал я, предугадывая его мысль. — И каков давалец. Вот с вас, например, я более ста рублей серебра не возьму.

— Ну, нет, батюшка, с кого угодно берите по сту целковых, а с нас кабы десяточек взяли, так это еще куда ни шло.

— Так лучше же мы сделаем вот как, — сказал я, подавая ему руку. — Отпустите мне месяца на два вашего рисовальщика, вот вам и портрет.

— На два? — проговорил он в раздумьи. — На два много, не могу. На месяц можно.

— Ну, хоть на месяц. Согласен, — сказал я. И мы, как барышники, ударили по рукам.

— Когда же начнем? — спросил он меня.

— Хоть завтра, — сказал я, надевая шляпу.

— Куде же вы? А могорычу-то?

— Нет, благодарю вас. Когда кончим, тогда можно будет. До свидания!

— До свидания!

Что значит один быстрый месяц свободы между многими тяжелыми, длинными годами неволи? В четверике маку одно зернышко. Я любовался им в продолжение этого счастливого месяца. Его выразительное юношеское лицо сияло такою светлою радостию, таким полным счастием, что я, прости меня, господи, позавидовал ему. Бедная, но опрятная и чистая его костюмировка казалась мне щегольскою, даже фризовая шинель его казалась мне из байки, и самой лучшей рижской байки. У мадам Юргенс во время обеда никто не посматривал искоса то на него, то на меня. Значит, не я один в нем видел такую счастливую перемену.

В один из этих счастливых дней мы шли вдвоем к мадам Юргенс и встретили на Большом проспекте Карла Павловича.

— Куда вы? — спросил он нас.

— К мадам Юргенс, — отвечал я.

— И я с вами, мне что-то вдруг есть захотелось, — сказал он и повернул с нами на Третью линию.

Карл Великий любил изредка посетить досужую мадам Юргенс. Ему нравилась не сама услужливая мадам Юргенс и не служанка ее Олимпиада, которая была моделью для Агари покойному Петровскому . Ему нравилось, как истинному артисту, наше разнохарактерное

общество. Там он мог видеть и бедного труженика, сенатского чиновника, в единственном, весьма не с иголки вицмундире, и университетского студента, тощего и бледного, лакомившегося обедом мадам Юргенс за деньгу, полученную им от богатого бурша-кутилы за переписку лекций Фишера. Тут многое и многое он видел такое, чего не мог видеть ни у Дюме, ни у Сен-Жоржа .

Зато всегда, когда он приходил, внимательная мадам Юргенс предлагала ему в особенной комнате накрытый стол и особенное какое-нибудь кушанье, наскоро приготовленное, от чего он, как истинный социалист, всегда отказывался. В этот же раз не отказался, и велел накрыть стол в особой комнате на три прибора, и послал Олимпиаду к Фоксу за бутылкой джаксона.

Мадам Юргенс земли под собой не слышала; так забегала, засуетилась, что чуть-чуть было свой новый парик не сдернула вместе с чепцом, когда вспомнила, что надо чепец переменить для столь дорогого гостя.

Для нее он был действительно дорогой гость.

С того самого дня, как он в первый раз посетил ее, нахлебники стали множиться со дня на день. И какие нахлебники! Не шушера какая-нибудь — художники, да студенты, да двугривенные сенатские чиновники, а люди, для которых нужна была бутылка медоку и какой-нибудь особенный бефстек.

И это весьма естественно. Если платят четвертак за то, чтобы посмотреть даму из Амстердама, то почему же не заплатить тридцать копеек, чтобы посмотреть вблизи на Брюллова? И мадам Юргенс вполне это понимала и по мере возможности пользовалась.

Ученик мой молча сидел за столом, молча и бледнея выпил стакан джаксона, и молча пожал он руку Карла Великого, и на квартиру

пришел молча, а дома уже, не раздеваясь, упал на пол и проплакал остаток дня и целую ночь.

Еще неделя оставалася его независимости, но он на другой день после описанного мною обеда свернул в трубку свои рисунки и, не сказавши мне ни слова, вышел за двери. Я думал, что он пошел по обыкновению в Седьмую линию, а потому и не спрашивал его, куда он идет. Пришло время обеда — его нет, и ночь пришла — его нет. На другой день я пошел к его хозяину, и там нет. Я испугался и не знал, что думать. На третий день перед вечером он приходит ко мне более обыкновенного бледный и растрепанный.

— Где ты был? — спрашиваю я. — Что с тобой? Ты болен? Ты нездоров?

— Нездоров, — едва внятно отвечает он.

Я послал дворника за Жидовцевым, частным лекарем, а сам принялся раздевать его и укладывать в постель. Он, как кроткий ребенок, повиновался мне.

Жидовцев пощупал у него пульс и посоветовал мне отправить его в больницу.

— Потому, — говорит, — что горячку при ваших средствах дома лечить опасно.

Я послушался его и в тот же вечер отвез своего бедного ученика в больницу св. Марии Магдалины, что у Тючкова моста.

Благодаря влиянию как частного лекаря Жидовцева, больного моего приняли без узаконенных формальностей. На другой день я дал знать его хозяину о случившемся, и форма была исполнена со всеми аксессуарами.

Я посещал его каждый день по нескольку раз, и всякий раз, когда я выходил из больницы, мне становилося грустнее и грустнее. Я так привык к нему, я так сроднился с ним, что без него я не знал, куда мне деваться. Пойду, бывало, на Петербургскую сторону, сверну в Петровский парк (в то время еще только и начинавшийся), выйду к дачам Соболевского и опять назад в больницу. А он все еще горит огнем. Спрашиваю у сиделки:

— Что, не приходит в себя?

— Нет, батюшка.

— Не бредит?

— Одно только: красный и красный!

— Ничего больше?

— Ничего, батюшка.

И я опять выхожу на улицу, и опять прохожу Тючков мост, и посещаю дачу г. Соболевского, и опять возвращаюся в больницу. Так прошло восемь дней; на девятый он пришел в себя, и, когда подходил я к нему, он посмотрел на меня так пристально, так выразительно, так сердечно, что я этого взгляда никогда не забуду. Хотел он сказать мне что-то и не мог, хотел протянуть мне руку и только заплакал. Я ушел.

В коридоре встретившийся мне дежурный медик сказал, что опасность миновалась, что молодая сила взяла свое.

Успокоенный добрым медиком, я пришел к себе на квартиру. Закурил сигару, сигара как-то плохо курится, я бросил ее. Вышел на бульвар. Все что-то не так, все чего-то недостает для моей радости. Я пошел в Академию, зашел к Карлу Павловичу, — его нет дома. Выхожу

на набережную, а он стоит себе у огромного сфинкса и смотрит, как по вскрывшейся Неве скользит ялик с веселыми пассажирами и за ним тянется длинная тоненькая серебряная струйка.

— Что, вы были у меня в мастерской? — спросил он меня, не здороваясь.

— Не был, — отвечал я.

— Пойдемте.

И мы молча пошли в его домашнюю мастерскую. В мастерской застали мы Липина. Он принес с свежими красками палитру и, усевшись в спокойные кресла, любовался еще не высохшим подмалевком портрета Василия Андреевича Жуковского. При входе нашем бедный Липин соскочил, переконфузился, как школьник, пойманный на месте преступления.

— Спрячьте палитру. Я сегодня работать не буду, — сказал Карл Павлович Липину. И сел на его место. По крайней мере полчаса молча смотрел он на свое произведение и, обращаясь ко мне, сказал: — Взгляд должен быть мягче. Его стихи такие мягкие, сладкие. Не правда ли? — И, не дав мне ответить, продолжал: — А знаете ли вы назначение этого портрета?

— Не знаю, — ответил я.

Еще минут десять молчания. Потом он встал, взял шляпу и проговорил:

— Пойдемте на улицу, я расскажу вам назначение портрета. — Выйдя на улицу, он сказал: — Я раздумал. Об этих вещах не рассказывают прежде времени. Притом же я вполне уверен, что вы не любопытны, — прибавил он шутя.

— Если вам так хочется, — сказал я, — пусть это останется загадкой для меня.

— Только до другого сеанса. Ну, что ваш протеже, лучше ли ему?

— Начал приходить в себя.

— Стало быть, опасность миновала?

— По крайней мере так медик говорит.

— До свидания, — сказал он, протягивая руку. — Зайду к Гальбергу. Едва ли он, бедный, встанет, — прибавил он грустно, и мы расстались.

Меня чрезвычайно заинтересовал этот таинственный портрет. Я издалека догадывался о его назначении, и как ни сильно хотелось мне убедиться в истине моей догадки, однако я имел столько мужества, что даже и не намекнул о ней Карлу Великому. Правда, в одно прекрасное утро сделал я визит В. А. Жуковскому под предлогом полюбоваться сухими контурами Корнелиуса и Петра Гессе , а на самом деле, не проведаю ли чего о таинственном портрете. Однако ж я ошибся.

Кленц, Валгалла, Пинакотека и вообще Мюнхен заняли все утро, так что даже о Дюссельдорфе не было помянуто ни одного слова, а портрета просто на свете не существовало.

Восторженные похвалы германскому искусству незабвенного Василия Андреевича были прерваны приходом графа М. Ю. Вельегорского.

— Вот вина и причина теперешних хлопот ваших, — сказал Василий Андреевич, указывая на меня графу.

Граф с чувством пожал мне руку. Я сделал уже проект на вопрос, как вошел слуга и проговорил какую-то незнакомую мне превосходительную фамилию. Я нашел свой проект неудобоисполнимым, раскланялся и вышел, как говорится, с носом.

А между тем молодое здоровье брало свое. Ученик мой, как тот сказочный пресловутый богатырь, оживал и крепел не по дням, а по часам. Он в какую-нибудь неделю после двухнедельной горячки стал на ноги и ходил, хотя придерживаясь за свою койку, но так скучно и невесело, что я, невзирая на наставление медика говорить с ним об отвлеченных предметах, спросил его однажды:

— Ты здоровеешь, тебе весело, чего же ты скучаешь?

— Я не скучаю, мне весело, но я не знаю, чего мне хочется... Мне хотелось бы читать.

Я спросил у медика, можно ли ему дать читать что-нибудь?

— Не давайте, тем более чтения сурьезного...

— Что же мне с ним делать? Сиделкой я его не могу быть, а более помочь ему нечем.

В этом тяжелом раздумье вспала мне на память "Перспектива" Альберта Дюрера с русским толкованием, которую я во время оно изучал, изучал, да и бросил, не добравшись толку. И странно. Я вспомнил о путанице Альберта Дюрера и совсем забыл о толковом прекрасном курсе линейной перспективы нашего профессора Воробьева. Чертежи этого курса перспективы у меня были в портфеле (правда, в беспорядке). Я собрал их и, сначала посоветовавшись с медиком, отдал их ученику своему вместе с циркулем и треугольником и тут же прочитал ему первый урок линейной перспективы. Второй и третий уроки перспективы мне уже нечего было толковать ему: он как

быстро выздоравливал, так быстро и понимал эту математическую науку, не знавши, впрочем, четырех правил арифметики.

Уроки перспективы кончились. Я просил старшего медика выписать его из больницы, но медик гигиенически растолковал мне, что для окончательного излечения ему необходимо еще пробыть под медицинским надзором по-крайней мере месяц. Скрепя сердце я согласился.

В продолжение этого времени часто я встречался с Карлом Павловичем, видел раза два или три портрет Василия Андреевича после второго сеанса. В разговоре с Карлом Павловичем замечал неумышленные намеки на какой-то секрет, но, не знаю почему, я сам отстранял его откровенность. Я как будто чего-то боялся, а между прочим почти угадывал секрет.

Тайна вскоре открылась. 22 апреля 1838 года поутру рано получаю я собственноручную записку В. А. Жуковского такого содержания:

"Милостивый государь N. N.!

Приходите завтра в одиннадцать часов к Карлу Павловичу и дождитесь меня у него, дождитесь меня непременно, как бы я поздно ни приехал.

В. Жуковский

P. S. Приведите и его с собою".

Слезами облил я эту святую записку и, не доверяя ее карману, сжал в кулаке и побежал в больницу. Швейцар, хотя и имел приказания пропускать меня во все часы дня, на этот раз однако ж не пустил, сказавши: "Рано, ваше благородие, больные еще спят". Меня это немного охолодило. Я разжал кулак, развернул записку, прочитал ее

чуть-чуть не по складам, бережно сложил ее, положил в карман и степенными шагами воротился на квартиру, в душе благодаря швейцара за то, что он остановил меня.

Давно, очень давно, еще в приходском училище, украдкою от учителя читал я знаменитую перелицованную "Энеиду" Котляревского. И

Колы чого в руках не маеш,

То не кажи, що вже твое, —

эти два стиха так глубоко мне врезались в память, что я и теперь их, повторяя, часто применяю к делу. Эти-то два стиха и пришли мне на память, когда я возвращался на квартиру. И в самом деле. Знал ли я наверное, что эта святая записка относится к его делу? Не знал, только предчувствовал, а предчувствие часто обманывает. А что, если б оно и теперь обмануло? Какое бы я страшное сделал зло, и кому еще? Любимейшему человеку. Я сам себя испугался при этой мысли.

В продолжение этих длиннейших суток я раз двадцать подходил к двери Карла Павловича и с каким-то непонятным страхом возвращался назад. Чего я боялся, и сам не знаю. В двадцать первый раз я решился позвонить, и Лукьян, выглянувши в окно, сказал: "Их нет дома". У меня как гора с плеч свалилась. Как будто я совершил огромный подвиг и наконец вздохнул свободно.

Бодро выхожу я из Академии на Третью линию, и тут как тут Карл Павлович навстречу. Я совершенно растерялся и хотел было бежать от него, но он остановил меня вопросом:

— Вы получили записку Жуковского?

— Получил, — едва внятно ответил я.

— Приходите же ко мне завтра в одиннадцать часов. До свидания. Да... Если он может, приведите и его с собой, — прибавил он, удаляясь.

"Ну, — подумал я, — теперь ни малейшего сомнения, а все-таки:

Колы чого в руках не маеш,

То не кажи, що вже твое".

Прошло несколько минут, и это мудрое изречение выпарилось из моей весьма непрактической головы. Мною овладело непреодолимое желание привести его завтра к Карлу Павловичу. А позволит ли медик? Вот вопрос. И, чтобы разрешить его, я пошел к доктору на квартиру, застал его дома и рассказал ему причину моего внезапного визита. Доктор привел мне несколько фактов умопомешательства, причиною которых были внезапная радость или внезапное горе. "А тем более, — заключил он, — что ваш протеже не совсем еще оправился после горячки". На такие аргументы отвечать было нечем. И я, поблагодаривши доктора за добрый совет, откланялся и вышел на улицу. Долго шлифовал я мостовую без всякого намерения; хотел было зайти к старику Венецианову, не скажет ли он мне чего определеннее, но было уже за полночь; а он не наш брат холостяк, — следовательно, и думать нечего о полунощном посещении. "Не пойти ли мне, — подумал я, — на Троицкий мост полюбоваться восходом солнца?" Но до Троицкого моста неблизко, а я начинал уже чувствовать усталость. Не ограничиться ли мне безмятежным сидением у сих огромных сфинксов? Ведь все равно та же Нева. Та же, да не та. И, подумавши, я направился к сфинксам. Севши на гранитную скамью и прислонясь к бронзовому грифону, я долго любовался на тихоструйную красавицу Неву.

С восходом солнца пришел на Неву за водой академический швейцар и разбудил меня, приговаривал вроде поучения:

— Благо еще люди не ходят, а то б подумали б, какой гулящий.

Поблагодарив гривенником швейцара за услугу, я отправился на квартиру и заснул уже настоящим, как говорится, хозяйским сном.

Ровно в одиннадцать часов явился я на квартиру Карла Павловича, и Лукьян, отворяя мне двери, сказал: "Просили подождать". В мастерской в глаза мне бросилась только по славе и Миллерову эстампу знаемая знаменитая картина Цампиери "Иоанн Богослов". Опять недоумение! Не по случаю ли этой картины пишет мне Василий Андреич? Зачем же он пишет: "Приведите и его с собою"? Записка была при мне, я достал ее и, прочитавши несколько раз post scriptum, немного успокоился и подошел к картине поближе, но проклятое сомнение мешало мне вполне наслаждаться этим в высшей степени изящным произведением.

Как ни мешало мне сомнение, однако ж я не заметил, как вошел в мастерскую Карл Великий в сопровождении графа Вельегорского и В. А. Жуковского. Я с поклоном уступил им свое место и отошел к портрету Жуковского. Они долго молча любовались великим произведением бедного мученика Цампиери, а я замирал от ожидания. Наконец Жуковский вынул из кармана форменно сложенную бумагу и, подавая мне, сказал:

— Передайте это ученику вашему.

Я развернул бумагу. Это была его отпускная, засвидетельствованная графом Вельегорским, Жуковским и К. Брюлловым.

Я набожно перекрестился и трижды поцеловал эти знаменитые рукоприложения.

Благодарил я как мог великое и человеколюбивое трио и, раскланявшись как попало, я вышел в коридор и побежал прямо к Венецианову.

Старик встретил меня радостным вопросом:

— Что нового?

Я молча вынул из кармана драгоценный акт и подал ему.

— Знаю, все знаю, — сказал он, возвращая мне бумагу.

— Да я-то ничего не знаю! Ради бога, расскажите мне, как это все совершилося?

— Слава богу, что совершилося, а мы сначала пообедаем, а потом я примусь рассказывать. История длинная, а главное — прекрасная история.

И, возвыся голос, он прочитал стих Жуковского:

Дети, овсяный кисель на столе, читайте молитву .

— Читаем, папаша, — раздался женский голос, и в сопровождении А. Н. Мокрицкого вышли из гостиной дочери Венецианова, и мы сели за стол. За обедом против обыкновения как-то было шумнее и веселее. Старик воодушевился и рассказал историю портрета В. А. Жуковского. И почти не упомянул о собственном участии в этой благородной истории. Только в заключение прибавил:

— А я только был простым маклером в этом великодушном деле.

А самое-то дело было вот как.

Карл Брюллов написал портрет Жуковского, а Жуковский и граф Вельегорский этот самый портрет предложили августейшему семейству за 2500 рублей ассигнациями и за эти деньги освободили моего

ученика. А старик Венецианов, как он сам выразился, разыграл в этом добром деле роль усердного и благородного маклера.

Что же мне теперь делать? Когда и как мне объявить ему эту радость? Венецианов повторил мне то же самое, что и врач сказал, и я совершенно убежден в необходимости этой предосторожности. Да как же я утерплю! Или прекратить свои посещения на некоторое время? Нельзя, он подумает, что я тоже заболел или покинул его, и будет мучиться. Подумавши, я вооружился всею силою воли и пошел в больницу Марии Магдалины. Первый сеанс я выдержал как лучше не надо, за вторым и третьим визитом я уже начал его понемногу приготовлять. Спрашивал медика, как скоро его можно выписать из больницы. И медик не советовал торопиться. Я опять начал мучиться нетерпением.

Однажды поутру приходит ко мне его бывший хозяин и без дальних околичностей начинает меня упрекать, что я ограбил его самым варварским образом, что я украл у него лучшего работника и что он через меня теряет по крайней мере не одну тысячу рублей!

Я долго не мог понять, в чем дело? И каким родом я попал в грабители? Наконец он мне сказал, что вчера призывал его помещик и что рассказал ему весь ход дела и требовал от него уничтожения контракта. И что вчера же он был в больнице, и что он ничего про это не знает. "Вот тебе и предосторожность!" — подумал я.

— Чего же вы теперь от меня хотите? — спросил я у него.

— Ничего, хочу узнать только, правда ли все это?

Я ответил:

— Правда. — И мы расстались.

Я был доволен таким оборотом дела. Он теперь уже приготовлен и может принять это известие спокойнее, чем прежде.

— Правда ли? Можно ли верить тому, что я слышал? — таким вопросом встретил он меня у дверей своей палаты.

— Я не знаю, что ты слышал.

— Мне говорил вчера хозяин, что я... — И он остановился, как бы боясь окончить фразу. И, помолчав немного, едва слышно проговорил: — Что я отпущен!.. Что вы... — И он залился слезами.

— Успокойся, — сказал я ему, — это еще только похоже на правду. — Но он ничего не слышал и продолжал плакать.

Через несколько дней выписался из больницы и поместился у меня на квартире, совершенно счастливый.

Много, неисчислимо много прекрасного в божественной, бессмертной природе, но торжество и венец бессмертной красоты — это оживленное счастием лицо человека. Возвышеннее, прекраснее в природе я ничего не знаю. И этою-то прелестию раз в жизни моей удалося мне вполне насладиться. В продолжение нескольких дней он был так счастлив, так прекрасен, что я не мог смотреть на него без умиления. Он переливал и в мою душу свое безграничное счастие.

Восторги его сменились тихой, улыбающейся радостию. Во все эти дни хотя он и принимался за работу, но работа ему не давалась. И он, было, положит свой рисунок в портфель, вынет из кармана отпускную, почитает ее чуть не по складам, перекрестится, поцелует и заплачет.

Чтобы отвлечь его внимание от предмета его радости, я взял у него отпускную под предлогом засвидетельствования ее в гражданской палате, а его каждый день водил в академические галереи. И, когда

было готово платье, я, как нянька, одел его, и пошли мы в губернское правление. Засвидетельствовавши драгоценный акт, сводил я его в Строганова галерею, показал ему оригинал Веласкеса. И тем кончились в тот день наши похождения.

На другой день, часу в десятом утра, одел я его снова и отвел к Карлу Павловичу, и как отец любимого сына передает учителю, так я передал его бессмертному нашему Карлу Павловичу Брюллову.

С того дня он начал посещать академические классы и сделался пансионером Общества поощрения художников.

Давно уже я собирался оставить нашу Северную Пальмиру для какого-нибудь смиренного уголка гостеприимной провинции. В текущем году желаемый уголок опростался при одном из провинциальных университетов, и я не преминул воспользоваться им. Во время оно, когда я посещал гипсовый класс и мечтал о стране чудес, о всемирной столице, увенчанной куполом Буонарроти , в то время, если бы мне предложили место рисовального учителя при университете, я бросил бы карандаш и воскликнул: "Стоит ли после этого изучать божественное искусство!" А теперь, когда уравновесилось воображение с здравым смыслом, когда в грядущее не сквозь радужную призму, а так просто смотришь, то против воли лезет в голову поговорка: "Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки".

Еще зимою мне следовало отправиться на место, но кое-какие собственные делишки, а в особенности дело ученика, теперь уже не моего, а К. Брюллова, меня задержали в столице, потом болезнь его и продолжительное выздоровление и, наконец, финансы. Когда все это пришло к благополучному концу, я, как сказал уже, приютил своего любимца под крылом Карла Великого и в первых числах мая оставил, и надолго оставил, столицу.

Оставляя возлюбленного моего, я передал ему свою квартиру с мольбертом и прочею мизерною мебелью и со всеми гипсовыми вещами, которые тоже нельзя было взять с собою. Советовал ему до следующей зимы пригласить товарища к себе. А зимой приедет к нему Штернберг, который был тогда в Малороссии и с которым я условился встретиться у одного общего знакомого нашего в Прилуцком уезде и при этой встрече собирался просить добрейшего Вилю по возвращении в столицу поселиться с ним на квартире. Что и случилось к величайшей моей радости. Советовал еще ему посещать Карла Павловича, но осторожно, чтобы не надоедать ему частыми визитами, не манкировать классами и как можно больше читать. А в заключение просил его писать мне чаще письма, и писать так, как он бы писал отцу родному.

И, поручивши его покрову предвечной матери, я расстался с ним, и увы! расстался навеки.

Первые письма его однообразны и похожи на подробный и монотонный дневник школьника. И только для меня они интересны, ни для кого больше. В последующих письмах начали проявляться и склад, и грамотность, а иногда и содержание, как, например, его девятое письмо.

"Сегодня, в десятом часу утра, свернули мы на вал картину распятия Христова и с натурщиками отправили в лютеранскую Петропавловскую церковь. Карл Павлович поручил мне сопровождать ее до самой церкви. Через четверть часа он и сам приехал; при себе велел натянуть опять на раму и поставить на место. Так как она не была еще покрыта лаком, то издали и не показывала ничего, кроме темного матового пятна. После обеда пошли мы с Михайловым и покрыли ее лаком. Вскоре пришел и Карл Павлович; сначала сел он на передней скамейке; недолго посидевши, он перешел на самую последнюю. Тут и мы подошли к нему и тоже сели. Долго он сидел молча и только изредка проговаривал: "Вандал! Ни одного луча света на алтарь. И для чего им картины? Вот если бы! — сказал он, обращаяся к нам и показывая на арку, разделяющую церковь. — Если бы во всю величину этой арки

написать картину "Распятие Христа", то это была бы картина, достойная богочеловека".

О, если бы хоть сотую, хоть тысячную долю мог я передать вам того, что я от него тогда слышал! Но вы сами знаете, как он говорит. Его слова невозможно положить на бумагу, они окаменеют. Он тут же сочинил эту колоссальную картину со всеми мельчайшими подробностями, написал и на место поставил. И какая картина! Николая Пуссена "Распятие" — просто суздальщина . А про Мартена и говорить нечего.

Долго он еще фантазировал, а я слушал его с благоговением; потом надел шляпу и вышел, а вслед за ним и я с Михайловым. Проходя мимо статуй апостолов Петра и Павла, он проговорил: "Куклы в мокрых тряпках! А еще с Торвальдсена!" Проходя мимо магазина Дациаро, он вмешался в толпу зевак и остановился у окна, увешанного раскрашенными французскими литографиями. "Боже мой, — подумал я, глядя на него. — И это тот самый гений, который сейчас только так высоко парил в области прекрасного искусства, теперь любуется приторными красавицами Гревидона! . Непонятно! А между прочим, правда".

Сегодня в первый раз я не был в классе, потому что Карл Павлович не пустил меня, усадил нас с Михайловым за шашки двоих против себя одного и проиграл нам коляску на три часа. Мы поехали на острова, а он остался дома дожидать нас ужинать.

P. S. Не помню, в прошедшем письме писал ли я вам, что я в сентябрьский третной экзамен переведен в натурный класс за "Бойца" № первым.

Если бы не вы, мой незабвенный, и через год меня бы не перевели в натурный класс. Я начал посещать анатомические лекции профессора Буяльского. Он теперь читает остов. И тут вы причина, что я, знаю

наизусть остов. Везде и везде вы, мой единственный, мой незабвенный благодетель. Прощайте.

Всем существом моим преданный вам N. N."

Я намерен досказать его историю собственными его письмами, и это будет тем более интересно, что в своих письмах он часто описывает занятия и почти вседневный домашний быт Карла Павловича, которого он был и любимым учеником, и товарищем. Для будущего биографа К. Брюллова я со временем издам все его письма, теперь помещу только те, которые непосредственно касаются его занятий и развития на поприще искусства и развития его внутренней высоконравственной жизни.

"Вот уже октябрь месяц в исходе, а Штернберга все нет, как нет. Я не знаю, что мне делать с квартирою. Она меня не обременяет, я плачу за нее пополам с Михайловым. Я почти безвыходно нахожусь у Карла Павловича, только ночевать прихожу домой, а иногда и ночую у него. А Михайлов и на ночь домой не приходит. Бог его знает, где он и как он живет? Я с ним встречаюсь только у Карла Павловича да иногда в классах. Он очень оригинальный, доброго сердца человек. Карл Павлович предлагает мне совсем к нему перейти жить, но мне и совестно, и, боюсь вам сказать, мне кажется, что я свободнее при своей квартире, а во-вторых, мне ужасно хочется хоть несколько месяцев прожить вместе с Штернбергом, потому собственно, что вы мне так советовали. А вы мне дурного не посоветуете.

Карл Павлович чрезвычайно прилежно работает над копиею с картины Доменикино "Иоанн Богослов". Копию эту заказала ему Академия художеств. Во время работы я читаю. У него порядочная своя библиотека, но совершенно без всякого порядка; несколько раз мы принимались дать ей какой-нибудь толк, но только все безуспешно. Впрочем, недостатка в чтении нет. Карл Павлович обещался Смирдину сделать рисунок для его "Ста литераторов", и он служит ему всей своей библиотекою. Я прочитал уже почти все романы Вальтера Скотта и

теперь читаю "Историю крестовых походов" Мишо . Мне она нравится лучше всех романов, и Карл Павлович то же говорит. Я начертил эскиз, как Петр Пустынник ведет толпу первых крестоносцев через один из германских городков, придерживаясь манеры и костюмов Реча. Показал Карлу Павловичу, и он мне строжайше запретил брать сюжеты из чего бы то ни было, кроме библии, древней греческой и римской истории. "Там, — сказал он, — все простота и изящество. А в средней истории — безнравственность и уродство". И у меня теперь на квартире, кроме библии, ни одной книги нет. "Путешествие Анахарсиса" и "Историю Греции" Гилиса я читаю у Карла и для Карла Павловича, и он всегда слушает с одинаковым удовольствием.

О, если бы вы видели, с каким вниманием, с какой сердечною любовию кончает он свою копию! Я просто благоговею перед ним, да и нельзя иначе. Но что значит волшебное, магическое действие оригинала! Или это просто предубеждение, или время так очаровательно стушевало эти краски, или Доменикино... Но нет, это грешная мысль. Доменикино никогда не мог быть выше нашего божественного Карла Павловича. Мне иногда хочется, чтобы скорее унесли оригинал.

Как-то раз за ужином зашла речь о копиях, и он сказал, что ни в живописи, ни в скульптуре он не допускает истинной копии, т. е. воссоздания. А что в словесной поэзии он знает одну-единственную копию — это "Шильонский узник" Жуковского. И тут же прочитал его наизусть. Как он дивно стихи читает! Ей-богу, лучше Брянского и Каратыгина .

Кстати, о Каратыгине. На днях случайно зашли мы в Михайловский театр. Давали "Тридцать лет, или Жизнь игрока" — пересоленная драма, как он выразился. Между вторым и третьим актом он ушел за кулисы и одел Каратыгина для роли нищего. Публика бесновалась, сама не знала отчего. Что значит костюм для хорошего актера.

Тальони уже приехала в Петербург и вскоре начнет свои волшебные полеты. Он, однако ж, что-то ее не жалует. Ах, если бы скорее Штернберг приехал! Я, не видавши, полюбил его. Карл Павлович для меня слишком колоссален и, несмотря на его доброту и ласки, мне иногда кажется, что я один. Михайлов прекрасный и благородный товарищ, но ничем не увлекается, никакая прелесть его, кажется, не чарует; а может быть, я его не понимаю. Прощайте, мой незабвенный благодетель".

"Я в восторге! Давно и так нетерпеливо ожидаемый мною Штернберг наконец приехал! И как внезапно, нечаянно! Я испугался и долго не верил своим глазам; думал, не видение ли. Я же в то время компоновал эскиз "Иезекииль на поле, усеянном костями". Это было ночью, часу во втором. Вдруг двери растворяются — а я углубился в "Иезекииля" и двери забыл запереть на ключ, — двери растворяются, и является в шубе и в теплой шапке человеческая фигура. Я сначала испугался и сам не знаю, как проговорил:

— Штернберг!

— Штернберг, — отвечал он мне, и я не дал ему шубу снять, принялся целовать его, а он отвечал мне тем же.

Долго мы молча любовались друг другом, наконец он вспомнил, что ямщик у ворот дожидается, и пошел к ямщику, а я к дворнику — просить перенести вещи в квартиру. Когда все это было сделано, мы вздохнули свободно. И странно. Мне казалося, что я встретил старого знакомого или, лучше сказать, вижу вас самих перед собою. Пока я расспрашивал, а он рассказывал, где и когда он вас видел, о чем говорили и как расстались, пока все это было, и ночь минула. И мы тогда только рассвет заметили, когда увидели от подсвечника упавшую ярко-голубую тень.

— Теперь, я думаю, можно и чаю напиться, — сказал он.

— Я, думаю, можно, — отвечал я. И мы пошли в "Золотой якорь".

После чая уложил я его спать, а сам пошел сказать о моей радости Карлу Павловичу, но он тоже спал. Делать нечего, я вышел на набережную и не успел пройти несколько шагов, как встретил Михайлова, тоже, кажется, всю ночь не спавшего; он шел с каким-то господином в пальто и в очках.

— Лев Александрович Элькан , — сказал Михайлов, указывая на господина в очках.

Я сказал свою фамилию, и мы пожали друг другу руку. Потом я сказал Михайлову о приезде Штернберга, и господин в очках обрадовался, как прибытию давно жданного друга.

— Где же он? — спросил Михайлов.

— У нас на квартире, — отвечал я.

— Спит?

— Спит.

— Ну, так пойдем в "Капернаум", там, верно, не спят, — сказал Михайлов. Господин в очках в знак согласия кивнул головою, и, они, взявшись под руки, пошли, и я вслед за ними. Проходя мимо квартиры Карла Павловича, я заметил в окне голову Лукьяна, из чего и заключил, что маэстро уже встал. Я простился с Михайловым и Эльканом и пошел к нему. В коридоре я встретил его с свежей палитрой и чистыми кистями, поздоровался с ним и возвратился назад. Теперь я не только вслух, и про себя читать был не в состоянии. Походивши немного по набережной, я пошел на квартиру. Штернберг еще спал; я тихонько сел на стуле против его постели и любовался его детски-непорочным лицом. Потом взял карандаш и бумагу и принялся рисовать спящего

вашего, а следовательно и моего друга. Сходство и выражение вышло порядочное для эскиза, и только я очертил всю фигуру и назначил складки одеяла, как Штернберг проснулся и поймал меня на месте преступления. Я сконфузился; он это заметил и засмеялся самым чистосердечным смехом.

— Покажите, что вы делали? — сказал он, вставая.

Я показал; он снова засмеялся и до небес расхвалил мой рисунок. ^

— Я когда-нибудь отплачу вам тем же, — сказал он смеясь. И, вскочив с постели, умылся и, развязавши чемодан, начал одеваться. Из чемодана, из-под белья, вынул он толстую портфель и, подавая ее мне, сказал : — Тут все, что я сделал прошлого лета в Малороссии, кроме нескольких картинок масляными красками и акварелью. Посмотрите, если время позволяет, а мне нужно кое-куда съездить. До свидания! — сказал он, подавая мне руку. — Не знаю, что сегодня в театре. Я ужасно за ним соскучился. Пойдемте вместе в театр.

— С большим удовольствием, — сказал я, — только вы зайдите за мною в натурный класс.

— Хорошо, зайду, — сказал он уже за дверями.

Если бы не пришел за мною Лукьян от Карла Павловича, мне обед и на мысль не пришел бы, мне даже досадно было, что для лукьяновского ростбифа я должен был оставить портфель Штернберга. За обедом я сказал Карлу Павловичу о моем счастии, и он пожелал его видеть. Я сказал ему, что мы условились с ним быть в театре. Он изъявил желание сопутствовать нам, если .дают что-нибудь порядочное. К счастью, в тот день на Александрийском театре давали "Заколдованный дом" . В конце класса Карл Павлович зашел в класс, взял меня и Штернберга с собою, усадил в свою коляску, и мы поехали смотреть Людовика XI. Так кончился первый день.

На второй день поутру Штернберг взял свою толстую портфель, и мы отправились к Карлу Павловичу. Он был в восторге от вашей однообразно-разнообразной, как он выразился, родины и от задумчивых земляков ваших, так прекрасно-верно переданных Штернбергом.

И какое множество рисунков, и как все прекрасно. На маленьком лоскутке серенькой оберточной бумаги проведена горизонтально линия, на первом плане ветряная мельница, пара волов около телеги, наваленной мешками. Все это не нарисовано, а только намекнуто, но какая прелесть! Очей не отведешь. Или под тенью развесистой вербы у самого берега беленькая, соломой крытая хатка вся отразилася в воде, как в зеркале. Под хаткою старушка, а на воде утки плавают. Вот и вся картина, и какая полная, живая картина!

И таких картин, или, лучше сказать, животрепещущих очерков, полна портфель Штернберга. Чудный, бесподобный Штернберг! Недаром его поцеловал Карл Павлович.

Невольно вспомнил я братьев Чернецовых ; они недавно возвратились из путешествия по Волге и приносили Карлу Павловичу показать свои рисунки: огромная кипа ватманской бумаги, по-немецки аккуратно перышком исчерченная. Карл Павлович взглянул на несколько рисунков и, закрывши портфель, сказал, разумеется, не братьям Чернецовым: "Я здесь не только матушки Волги, и лужи порядочной не надеюсь увидеть". А в одном эскизе Штернберга он видит всю Малороссию. Ему так понравилась ваша родина и унылые физиономии ваших земляков, что он сегодня за обедом построил уже себе хутор на берегу Днепра, близ Киева, со всеми угодьями, в самой очаровательной декорации. Одно, чего он боится и чего никак устранить от себя не может, — это помещики, или, как он называет их, феодалы-собачники.

Он совершенное дитя, со всею прелестию дитя.

И сегодняшний день мы заключили спектаклем; давали Шиллеровых "Разбойников". Оперы почти не существует, изредка появится или "Роберт", или "Фенелла" . Балет или, лучше сказать, Тальони все уничтожила.

Прощайте, мой незабвенный благодетель.!"

"Вот уже более месяца, как мы живем вместе с несравненным Штернбергом, и живем так, как дай бог, чтобы братья родные жили. Да и какое же он доброе, кроткое создание! Настоящий художник! Ему все улыбается, как и он сам всему улыбается. Счастливый, завидный характер! Карл Павлович его очень любит. Да и можно ли, знавши, не любить его?

Вот как мы проводим дни и ночи: поутру, в девять часов, я ухожу в живописный класс. (Я уже делаю этюды масляными красками и в прошедший экзамен получил третий номер). Штернберг остается дома и делает из своих эскизов или рисунки акварелью, или небольшие картины масляными красками. В одиннадцать часов я или захожу к Карлу Павловичу, или прихожу домой, и завтракаем с Штернбергом, чем бог послал. Потом я опять ухожу в класс и остаюся там до трех часов. В три часа мы идем обедать к мадам Юргенс. Иногда и Карл Павлович с нами, потому что я почти каждый день в это время заставал его у Штернберга, и он часто отказывался от роскошного аристократического обеда для мизерного демократического супа. Истинно необыкновенный человек! После обеда я отправляюся в классы. К семи часам в классы приходит Штернберг, и мы идем или в театр, или, немного погулявши по набережной, возвращаемся домой, и я читаю что-нибудь вслух, а он работает, или я работаю, а он читает. Недавно мы прочитали "Вудсток" Вальтера Скотта. Меня чрезвычайно заинтересовала сцена, где Карл II Стюарт, скрывающийся под чужим именем в замке старого баронета Ли, открывается его дочери Юлии Ли, что он король Англии, и предлагает ей при дворе своем почетное место наложницы. Настоящая королевская благодарность за гостеприимство. Я начертил эскиз и показал Карлу

Павловичу. Он похвалил мой выбор и самый эскиз и велел изучать Павла Деларош а .

Штернберг недавно познакомил меня с семейством Шмидта. Это какой-то дальний его родственник, прекрасный человек, а семейство его — это просто благодать господня. Мы часто по вечерам бываем у них, а по воскресеньям и обедаем. Чудное, милое семейство! Я всегда выхожу от них как будто чище и добрее. Я не знаю, как и благодарить Штернберга за это знакомство.

Еще познакомил он меня с домом малороссийского аристократа, того самого, у которого вы с ним встретились прошедшее лето в Малороссии. Я редко там бываю, и то, собственно, для Штернберга. Не нравится этот покровительственный тон и подлая лесть его неотесанных гостей, которых он кормит своими роскошными обедами и поит малороссийскою сливянкой. Я долго не мог понять, как это Штернберг терпит подобные картины? Наконец дело открылося само собой. Он однажды возвратился от Тарновских совершенно не похож на себя, т. е. сердитый. Долго молча ходил он по комнате, наконец лег в постель, встал и опять лег; и это повторил он раза три, наконец успокоился и заснул. Слышу — он во сне произносит имя одной из племянниц Тарновского. Тут я начал догадываться, в чем дело. На другой день Виля мой опять отправился к Тарновским и возвратился поздно ночью в слезах. Я притворился, будто не замечаю этого. Он упал на диван и, закрыв лицо руками, рыдал, как ребенок. Так прошло по крайней мере час. Потом поднялся он с дивана, подошел ко мне, обнял меня, поцеловал и горько улыбнулся; сел около меня и рассказал мне историю любви своей. История самая обыкновенная. Он влюбился в старшую племянницу Тарновского, а та хоть и отвечала ему тем же, но в деле брака предпочла ему какого-то лысого доктора Бурцева. Самая обыкновенная история. После исповеди он немного успокоился, и я уложил его в постель.

На другой и третий день я его почти что не видел: уйдет рано, придет поздно, а где он проводит дни, бог его знает. Пробовал я с ним

заговаривать, но он едва мне отвечает. Предлагал посетить Шмидтов, но он отрицательно кивнул головою. В воскресенье поутру предложил я ему поехать в оранжереи Ботанического сада, и он, правда, принужденно, но согласился. Оранжереи на него подействовали благодетельно. Он повеселел. Начал мечтать о путешествии в те волшебные края, где растут все эти удивительные растения, как у нас чертополох.

Выйдя из оранжереи, я предложил пообедать на Крестовском в немецком трактире; он охотно согласился. После обеда мы послушали тирольцев, посмотрели, как с гор катаются, и поехали прямо к Шмидту. Шмидты в тот день обедали у Фицтума (инспектора университета) и на вечер там остались. Мы туда, нас встретили вопросом с восклицанием — где мы пропадали? У Фицтума насладившись квинтетом Бетховена и сонатою Моцарта, где солировал знаменитый Бем , часу в первом ночи возвратился на квартиру. Бедный Виля опять задумался. Я не утешаю его, да и чем я его могу утешить?

На другой день, по поручению Карла Павловича, пошел в магазин Смирдина и между прочими книгами взял два номера "Библиотеки для чтения", где помещен "Никлас Никльби", роман Диккенса. Думаю устроить литературные вечера у Шмидтов и пригласить Штернберга. Как затеяно, так и сделано. В тот же день, после вечерних классов, отправились мы к Шмидтам с книгами под мышкой. Выдумка моя была принята с восторгом, и после чая началося чтение. Первый вечер читал я, второй Штернберг, потом опять я, потом опять он, и так мы продолжали, пока кончили роман. Это имело прекрасное влияние на Штернберга. После "Никласа Никльби" таким же порядком прочитали мы "Замок Кенильворт", потом "Пертскую красавицу" и еще несколько романов Вальтера Скотта. Часто просиживали мы за полночь и не видали, как и рождественские праздники наступили. Штернберг почти пришел в себя, по крайней мере, работает и меньше грустит. Даст бог, и это пройдет. Прощайте, мой отец родной. Не обещаюся писать вам в скором времени, потому что праздники наступают, а я уже сделал себе по милости Штернберга, кроме Шмидтов, еще некоторые знакомства, и

знакомства, которые следует поддерживать. Сделал я себе к празднику новую пару платья и из английской байки пальто, точно такое, как у Штернберга, — чтобы недаром нас Шмидты называли Кастором и Поллуксом . А к весне думаем заказать себе камлотовые шинели. У меня теперь деньги водятся. Я начал рисовать акварельные портреты, сначала по-приятельски, а потом и за деньги, только Карлу Павловичу еще не показываю — боюся. Я больше придерживаюсь Соколова . Гау мне не нравится — приторно-сладкий. Думаю еще заняться французским языком, это необходимо. Предлагала мне свои услуги одна пожилая вдова с тем, чтобы я ее сына учил рисовать. Взаимное одолжение, но мне оно не нравится: во-первых, потому что далеко ходить (в Эртелев переулок), а во-вторых, возиться два часа с избалованным мальчуганом — это тоже порядочная комиссия. Лучше же я эти два часа употреблю на акварельный портрет и заплачу учителю деньги. Я думаю, и вы скажете, что лучше. У Карла Павловича есть Гиббон на французском языке, и я не могу смотреть на него равнодушно. Не знаю, видели ли вы его эскиз или, лучше сказать, небольшую картину "Посещение Рима Гензерихом". Теперь она у него в мастерской. Чудная! как и все чудное, что выходит из-под его кисти. Если не видали, то я сделаю небольшой рисунок и пришлю вам. "Бахчисарайский фонтан" тоже пришлю. Это, кажется, еще при вас начато.

Ах, да! чуть-чуть было не забыл. Готовится необыкновенное событие: Карл Павлович женится, после праздника свадьба. Невеста его — дочь рижского почетного гражданина Тимма. Я не видел ее, но, говорят, удивительная красавица. Брата ее я встречаю иногда в классе: он ученик Заурвейда, чрезвычайно красивый юноша. Когда все это совершится, то опишу вам с самомельчайшими подробностями, а пока еще раз прощайте, мой незабвенный благодетель".

"Вот уже два месяца, как я не писал вам. Такое долгое молчание непростительно. Но я как будто нарочно выжидал, пока кончится интересный эпизод из жизни Карла Павловича. В последнем письме

писал я вам о предполагаемой женитьбе. Теперь опишу вам подробно, как это совершилось и как разрушилось.

В самый день свадьбы Карл Павлович оделся, как он обыкновенно одевается, взял шляпу и, проходя через мастерскую, остановился перед копией Доменикино, уже оконченной. Долго стоял он молча, потом сел в кресла. Кроме его и меня, в мастерской никого не было. Молчание длилось еще несколько минут. Потом он, обращаясь ко мне, сказал:

— Цампиери как будто говорит мне: "Не женись, погибнеш".

Я не нашелся, что ему сказать, а он взял шляпу и пошел к своей невесте. Во весь этот день он не возвращался к себе на квартиру. Приготовлений к празднику не было совершенно никаких. Даже ростбифа Лукьян не жарил в этот день. Словом, ничего похожего не было на праздник. В классе я узнал, что будет он венчаться в восемь часов вечера в лютеранской церкви св. Анны, что в Кирочной. После класса взяли мы с Штернбергом извозчика и отправились в Кирочную. Церковь уже была освещена, и Карл Павлович с Заурвейдом и братом невесты был в церкви. Увидя нас, он подошел, подал нам руку и сказал: "Женюсь". В это самое время вошла в церковь невеста, и он пошел ей навстречу. Я в жизнь мою не видел да и не увижу такой красавицы. В продолжение обряда Карл Павлович стоял, глубоко задумавшись. Он ни разу не взглянул на свою прекрасную невесту. Обряд кончился, мы поздравили счастливых супругов, проводили их до кареты и по дороге заехали к Клею, поужинали и за здоровье молодых выпили бутылку клико . Все это происходило 8 генваря 1839 года. И у Карла Павловича свадьба кончилась бутылкой клико. Ни в тот, ни в последующие дни не было никакого праздника.

Через неделю после этого события встретился я с ним в коридоре, как раз против квартиры графа Толстого, и он зазвал меня к себе и оставил обедать. В ожидании обеда он что-то чертил в своем альбоме, а меня заставил читать "Квентина Дорварда" . Только что я начал читать, как он остановил меня и довольно громко крикнул:

— Эмилия! — Через минуту вошла ослепительная красавица, жена его. Я неловко поклонился ей, а он сказал:

— Эмилия! На чем мы остановились? Или нет, садись ты сама читай. А вы послушайте, как она мастерски читает по-русски. — Она сначала не хотела читать, но потом раскрыла книгу, прочитала несколько фраз с сильным немецким выговором, захохотала, бросила книгу и убежала. Он позвал ее опять и с нежностью влюбленного просил ее сесть за фортепиано и спеть знаменитую каватину из "Нормы". Без малейшего жеманства она села за инструмент и после нескольких прелюдий запела. Голос у нее не сильный, не эффектный, но такой сладкий, чарующий, что я слушал и сам себе не верил, что я слушаю пение существа смертного, земного, а не какой-нибудь воздушной феи. Или это магическое влияние красоты, или она действительно хорошо пела, теперь я вам не могу сказать основательно, только я и теперь как будто слышу ее волшебный голос. Карл Павлович тоже был очарован ее пением, потому что сидел он, сложа руки над своим альбомом, и не слышал, как вошел Лукьян и два раза повторил: "Кушанье подано".

После обеда на тот же стол подал Лукьян фрукты и бутылку лакрима-кристи. Пробило пять часов, и я оставил их за столом и ушел в класс. На прощанье Карл Павлович подал мне руку и просил приходить к ним каждый день к обеду. Я был в восторге от такого приглашения.

После классов встретил я их на набережной и присоединился к ним. Вскоре они пошли домой и меня пригласили к себе. За чаем Карл Павлович прочитал "Анджело" Пушкина и рассказал, как покойный Александр Сергеевич просил его написать с его жены портрет и как он бесцеремонно отказал ему, потому что жена его косая. Он предлагал Пушкину с самого его написать портрет, но Пушкин отплатил ему тем же. Вскоре после этого поэт умер и оставил нас без портрета. Кипренский изобразил его каким-то денди, а не поэтом.

После чаю молодая очаровательная хозяйка выучила нас в гальбе-цвельф и проиграла мне двугривенный, а мужу каватину из "Нормы" и

сейчас же села за фортепиано и расплатилась. После такого великолепного финала я поблагодарил очаровательную хозяйку и хозяина и отправился домой. Это уже было далеко за полночь; Штернберг еще не спал, дожидался меня. Я, не снимая шляпы, рассказал ему свои похождения, и он назвал меня счастливцем.

— Позавидуй же и мне, — сказал он. — Меня приглашает генерал-губернатор Оренбургского края к себе в Оренбург на лето, и я был сегодня у Владимира Ивановича Даля , и мы условились уже насчет поездки. На будущей неделе — прощай! — Меня это известие ошеломило. Я долго говорить не мог и, придя в себя, спросил его:

— Когда же это ты так скоро успел все обделать?

— Сегодня, — отвечал он. — Часу в десятом присылает за мною Григорович. Я явился. Он предлагает мне это путешествие. Я соглашаюсь, отправляюся к Далю — и дело кончено.

— Что же я буду без тебя делать? Как же я буду жить без тебя? — спросил я его сквозь слезы.

— Так, как и я без тебя. Будем учиться, работать и одиночества не заметим. Вот что, — прибавил он, — завтра мы обедаем у Йохима. Он тебя знает и просил меня привести тебя к себе. Согласен?

Я отвечал:

— Согласен. — И мы легли спать.

На другой день мы обедали у Йохима. Это сын известного каретника Йохима. Веселый, простой и прекрасно образованный немец. После обеда показывал он нам свое собрание эстампов и между прочим несколько тетрадей только что полученных превосходнейших литографий Дрезденской галереи. Так как это было в субботу, то мы и

вечер провели у него. За чаем как-то речь зашла о любви и о влюбленных. Бедный Штернберг как на иголках сидел. Я старался переменить разговор, но Йохим, как нарочно, раздувал его. И в заключение про самого себя рассказал следующий анекдот:

— Когда я был влюблен в мою Адельгайду, а она в меня нет, то я решился на самоубийство. Я решился умертвить себя угаром. Приготовил все, что следует, как-то: написал записки нескольким друзьям и между прочим ей (и он указал на жену), достал бутылку рому и велел принести жаровню с холодным угольем, лучины и свечу. Когда все это было готово, я запер на ключ двери, налил стакан рому, выпил, и мне начал грезиться "Пир Балтазара" Мартена. Я повторил дозу, и мне уже ничего не грезилось. Уведомленные о моей преждевременной и трагической смерти друзья сбежались, выломали двери и нашли меня мертвецки пьяного; дело в том, что я забыл уголья зажечь, а то бы непременно умер. После этого происшествия она сделалась ко мне благосклоннее и, наконец, решилась сделать меня своим мужем.

Рассказ свой заключил он добрым стаканом пунша. Йохим мне чрезвычайно понравился своею манерой, и я вменил себе в обязанность навещать его как можно чаще.

Воскресенье мы провели у Шмидта, в одиннадцать часов возвратились на квартиру и уже раздеваться начали. Штернбергу понадобился носовой платок, он сунул руку в карман и вместо платка вынул афишу.

— Я и забыл! Сегодня в Большом театре маскарад, — сказал Штернберг, развертывая афишу. — Поедем!

— Пожалуй, поедем, спать рано, — сказал я, и, надевши вместо сюртуков фраки, поехали сначала к Полицейскому мосту в магазин костюмов, взяли капуцины, черные полумаски и отправились в Большой театр. Сияющий зал быстро наполнялся замаскированной публикой,

музыка гремела, и в шуме общего говора визжали маленькие капуцины. Скоро сделалось жарко, и маска мне страшно надоела; я снял ее;

Штернберг тоже. Может быть, иным показалось это странным, да нам-то какое дело.

Мы пошли в верхние боковые залы вздохнуть от тесноты и жару. Нас, хоть бы на смех, не преследовала ни одна маска. Только на лестнице встретил нас Элькан, тот самый господин в очках, что встретился мне однажды с Михайловым. Он меня узнал, Штернберга он тоже узнал, и, хохоча во все горло, заключил нас в свои объятия. В это время подошел к нему молодой мичман, и он отрекомендовал нам, называя его своим искренним другом Сашею Оболонским. Был уже третий час, когда мы поднялись наверх. В одной из боковых зал накрытый стол и жующая публика возбудили во мне аппетит. Я это сообщил Штернбергу шепотом, а он вслух изъявил согласие. Но Элькан и Оболонский против этого протестовали и предложили ехать к неизменному Клею и поужинать как следует. "А то, — прибавил Элькан, — здесь не накормят, а возьмут вдесятеро". Мы единодушно изъявили согласие и отправились к Клею.

Мне молодой мичман понравился своею разбитною манерою. До сих пор встречался я только с своими скромными товарищами, а светского юношу еще в первый раз увидел вблизи. Каламбурами и остротами так и сыплет, а водевильных куплетов без счету, — просто прелесть юноша. Мы просидели у Клея до рассвета, и как удалый мичман был немного подгулявши, то мы взяли его к себе на квартиру, а с Эльканом расстались в трактире.

Вот как я нынче живу! По маскарадам шляюся, в трактире ужинаю, деньги как попало трачу. А давно ли, давно ли сияло над Невой то незабвенное утро, в которое вы меня в первый раз увидели в Летнем саду перед статуей Сатурна? Незабвенное утро, незабвенный мой благодетель! Чем я и как я достойно возблагодарю вас? Кроме чистой сердечной слезы-молитвы, я ничего не имею.

В девять часов я по обыкновению пошел в класс, а Штернберг с гостем остались дома; гость еще спал. В одиннадцать часов зашел я к Карлу Павловичу и получил милейший выговор от милейшей Эмилии Карловны. До второго часу играли мы в гальбе-цвельф. Она хотела, чтобы я до обеда оставался с ними. Я уже начал было соглашаться, но Карл Павлович заметил, что манкировать не должно, и я, сконфуженный по уши, пошел в класс. В три часа я опять явился, а в пять часов оставил их за столом и опять ушел в класс.

Так проводил я все дни у них, как вышеописанный, кроме субботы и воскресенья. Суббота была посвящена Йохиму, а воскресенье — Шмидту и Фицтуму. Вы замечаете, что все мои знакомые — немцы. Но какие прекрасные немцы! Я просто влюблен в этих немцев.

Штернберг в продолжение недели хлопотал о своем путешествии и, верно, что-нибудь забыл, это в его натуре. В субботу мы отправилися к Йохиму, встретили там старика Кольмана , известного акварелиста и учителя Йохима.

После обеда заставил Кольман ученика своего показать нам свои этюды с деревьев, на что ученик неохотно согласился. Этюды сделаны черным и белым карандашом на серой бумаге. И сделаны так превосходно, так отчетливо, что я не мог налюбоваться ими. За один из этюдов он получил вторую серебряную медаль. И добрый Кольман, как торжество ученика своего, хвалил этот рисунок до небес и всем святым божился, что он сам не нарисует так прекрасно.

Так как Штернбергу оставалось только два дня, не более, провести с нами, то Йохим и спросил у него, как он намерен распорядиться этими днями? Штернберг, кажется, об этом и не подумал. И Йохим предложил вот что. Завтра, т. е. в воскресенье, посетить Строганова и Юсупова галереи, а в понедельник Эрмитаж. Проект был принят. И на другой день заехали мы к Йохиму и отправились в галерею Юсупова. Доложили князю, что такие-то художники просят позволения посмотреть его галерею, на что вежливый хозяин велел сказать нам, что сегодня

воскресенье и прекрасная погода, а потому и советует нам, вместо изящных произведений, насладиться лучше великолепной погодою. Нам, разумеется, осталося поблагодарить князя за обязательный совет, и больше ничего. Чтобы не выслушать подобного совета и у Строганова, мы отправились в Эрмитаж и часа три наслаждались, как истинные поклонники прекрасного искусства. Обедали у Йохима, а вечер провели в театре.

В понедельник поутру Штернберг получил записку от Даля. Владимир Иванович писал ему, чтобы он в три часа был готов к выезду. Он поехал проститься с своими друзьями, а я принялся укладывать его чемодан. К трем часам мы уже были у Даля, а в четыре мы поцеловались с Штернбергом у Средней рогатки, и я один возвратился в Петербург, чуть-чуть не в слезах. Думал было заехать к Йохиму, но мне хотелось уединения и не хотелось ехать к себе на квартиру: я боялся пустоты, которая меня поразит дома. Отпустив у заставы извозчика, я пошел пешком. Пространство, пройденное мною, не утомило меня, как я этого ожидал, и я долго еще ходил по набережной против Академии. В квартире Карла Павловича светился огонь; огонь вскоре погас, и через минуту вышел он с женою на набережную. Я, чтобы не встретиться с ними, ушел к себе и, не зажигая огня, разделся и лег в постель.

Я теперь почти не бываю дома: скука и пустота без Штернберга. Михайлов опять поселился со мною и по-прежнему не сидит дома. Он тоже где-то познакомился с мичманом Оболонским, вероятно, у Элькана. Он часто приходит ночью, и если Михайлова нету дома, то он ложится спать на его постели. Юноша этот мне начинает менее нравиться, чем прежде: или он действительно однообразен, или это мне так кажется, потому что я сам теперь на себя не похож. И в самом деле, классы посещаю по-прежнему исправно, но работаю вяло. Карл Павлович это заметил; мне это досадно, и я не знаю, как исправиться. Эмилия Карловна со мною по-прежнему любезна и по-прежнему играет со мною в гальбе-цвельф. Вскоре после отъезда Штернберга он велел мне приготовить карандаши и бумагу. Он хочет нарисовать 12 головок с жены своей в разных поворотах для предполагаемой картины из

баллады Жуковского "12 спящих дев". Бумага и карандаши лежат, однако ж, без всякого употребления.

Это было в конце февраля; я по обыкновению обедал у них. В этот роковой день она мне показалась особенно очаровательною; за обедом потчевала меня вином и была так любезна, что когда пробило пять часов, то я готов был забыть про класс, однако ж она сама мне про него напомнила. Делать было нечего, я встал из-за стола и ушел не прощаясь, обещаяся зайти из класса и непременно обыграть ее в гальбе-цвельф.

Классы кончились. Захожу я по обещанию к ним, меня в дверях встречает Лукьян и говорит, что барин никого принимать не приказали. Я немало удивился такому превращению и пошел к себе на квартиру. Против обыкновения застал я дома Михайлова и удалого мичмана. Вечер пролетел у нас в веселой болтовне. Часу в двенадцатом они пошли ужинать, а я лег спать.

На другой день поутру из класса захожу я к Карлу Павловичу, вхожу в мастерскую, и он встречает меня весело такими словами: "Поздравьте меня, я холостой человек!" Сначала я его не понял, но он повторил мне еще раз. Я все еще не верил, и он прибавил совсем не весело: "Жена моя вчера после обеда ушла к Заурвейдовой и не возвращалась". Потом он велел Лукьяну сказать Липину, чтобы тот подал ему палитру и кисти. Через минуту все было подано, и он сел за работу. На станке стоял неоконченный портрет графа Мусина-Пушкина . Он принялся за него. Как ни старался он казаться равнодушным, работа ему сильно изменяла. Наконец он бросил палитру и кисти и проговорил как бы про себя: "Неужели это меня так тревожит? Работать не могу". И он ушел к себе наверх. Во втором часу я ушел в класс, все еще не совсем уверенный в случившемся. В три часа я вышел из класса и не знал, что делать: идти ли мне к нему или оставить его в покое. Лукьян встретил меня в коридоре и разрешил мое недоумение, сказавши: "Барин просят обедать". Обедал я, однако ж, один, а Карл Павлович ни до чего не дотронулся, даже за стол не садился, жаловался на головную боль, а

сам курил сигару. На другой день он слег в постель и пролежал две недели; в это время я не отходил от него. В нем по временам показывался горячечный бред, но он ни разу не произнес имя жены своей. Наконец он начал поправляться и в один вечер пригласил брата своего Александра и просил его рекомендовать ему адвоката, чтобы хлопотать о формальной разводной. Теперь он уже выходит и заказал Довициели большой холст — думает начать картину "Взятие на небо божией матери" для Казанского собора. А в ожидании холста и лета начал портрет во весь рост князя Александра Николаевича Голицына для Федора Ивановича Прянишникова. Старик будет изображен в сидячем положении, в андреевской ленте и в сером фраке.

Не пишу вам о слухак, какие ходят о Карле Павловиче и в городе, и в самой Академии; слухи самые нелепые и возмутительные, которые повторять грешно. В Академии общий голос называет автором этих гадостей Заурвейда, и я имею основание этому верить. Пускай все это немного постареет, и тогда я вам сообщу мои подозрения. А пока скопятся и выработаются материалы, прощайте, мой незабвенный благодетель.

P. S. От Штернберга из Москвы получил я письмо. Добрый Виля, он и вас не забывает. Кланяется вам и просит, если случится вам встретить в Малороссии племянницу Тарновского, госпожу Бурцеву, то засвидетельствуйте ей от него глубочайшее почтение. Бедный Виля, он все еще ее помнит".

Следующее за этим письмом я не помещаю, потому что оно, кроме нелепых сплетен и самой гнусной клеветы, адресованной на имя Карла Великого, ничего в себе не заключает, а такие вещи не должны иметь места в сказании о благороднейшем из людей. Несчастное его супружество кончилось полюбовной сделкой, т. е. разводом, за который он заплатил ей 13 000 рублей ассигнациями. Вот и весь интерес письма.

"Петербургского серенького лета как не бывало. На дворе сырая, гнилая осень, а в Академии нашей блистательная выставка. Что бы вам

приехать взглянуть на ее? А я на вас бы полюбовался. По части живописи из ученических работ особенно замечательного ничего нет, кроме программы Петровского "Явление ангела пастухам". Зато скульпторы отличились — Рамазанов и Ставассер , особенно Ставассер. Он исполнил круглую статую молодого рыбака. И как исполнил! Просто прелесть, особенно выражение лица — живое, дыхание затаившее лицо, следящее за движением поплавка. Я помню, когда статуя была еще в глине, Карл Павлович нечаянно зашел в кабинет Ставассера и, любуясь его статуею, посоветовал ему вдавить немного нижнюю губу рыбака. Он это сделал, и выражение изменилось. Ставассер готов был молиться на великого Брюллова.

О живописи вообще скажу вам, что для одной картины Карла Павловича стоило приехать из Китая, а не только из Малороссии. Чудо-богатырь за один присест и подмалевал, и кончил, и теперь угощает алчную публику своим дивным произведением. Велика его слава! И необъятен его гений!

Что мне вам про себя самого сказать? Получил первую серебряную медаль за этюд с натуры. Еще написал небольшую картину масляными красками — "Сиротка мальчик делится милостыней с собакою под забором". Вот и все. В продолжение лета постоянно занимался в классах и рано по утрам ходил с Йохимом на Смоленское кладбище лопухи и деревья рисовать. Я более и более влюбляюсь в Йохима. Мы с ним почти каждый день видимся, он постоянно посещает вечерние классы, хорошо сошелся с Карлом Павловичем, и часто бывают друг у друга. Иногда мы позволяем себе прогулки на Петровский и Крестовский острова с целью нарисовать черную ель или белую березу. Раза два ходили пешком в Парголово, и там познакомил я его со Шмидтами. Они летом живут в Парголове. Йохим чрезвычайно доволен этим знакомством. Да кто не будет доволен семейством Шмидта!

Расскажу вам еще одно презабавное происшествие, недавно со мною случившееся. В одном этаже со мною поселился недавно какой-то чиновник с семейством. Семейство его — жена, двое детей .и

племянница, прекрасная девушка, лет пятнадцати. Каким родом я узнал все эти подробности, я вам сейчас расскажу.

Вы помните хорошо вашу бывшую квартиру: из крошечной прихожей дверь отворяется на общий коридор. Однажды я отворяю эту дверь, и представьте мое изумление! Передо мною стоит прекрасная девушка, сконфуженная и раскрасневшаяся до ушей. Я не знал, что сказать ей, и, с минуту помолчавши, поклонился, а она, закрыв лицо руками, убежала и скрылась в соседней двери. Я не мог понять, что бы это значило, и после долгих догадок и предположений пошел в класс. Работал я плохо; мне все мешала загадочная девушка. На другой день она встретилась мне на лестнице и вспыхнула, как и прежде; я тоже по-прежнему остолбенел. Через минуту она захохотала так детски, так чистосердечно, что я не утерпел и начал ей вторить. Чьи-то шаги послышались на лестнице и уняли наш смех. Она приложила палец к губам и убежала. Я тихо поднялся по лестнице и вошел в свою квартиру, еще больше озадаченный, чем в первый раз. Она мне несколько дней покою не давала. Я поминутно выходил в коридор в надежде встретить знакомую незнакомку, но она если и выбегала на коридор, то так быстро пряталась, что я не успевал ей кивнуть головою, а не то чтобы порядочно поклониться. В таком положении прошла целая неделя. Я уже начал было ее забывать. Только слушайте, что случилось. В воскресенье, часу в десятом утра, входит ко мне Йохим, и отгадайте, кого он ввел за собою? Мою таинственную раскрасневшуюся красавицу.

— Я у вас поймал вора, — говорил он смеяся.

При взгляде на загадочную шалунью я сам сконфузился не меньше пойманного вора. Йохим это заметил и, выпуская руку красавицы, лукаво улыбнулся. Освобожденная красавица не исчезла, как можно было предполагать, а осталася тут же и, поправивши косыночку и косу, осмотрелась и проговорила:

— А я думала, что вы как раз против дверей сидите и рисуете, а вы вон где, в другой комнате.

— А если бы против дверей он рисовал, тогда что бы? — сказал Йохим.

— Тогда бы я смотрела в дырочку, как они рисуют.

— Зачем в дырочку? Я уверен, что товарищ мой настолько вежлив, что позволит оставаться в комнате во время работы. — И я в подтверждение слов Йохима кивнул головою и предложил стул гостье. Она, на мою вежливость не обратив внимания, обратилась к стоявшему на станке недавно мною начатому портрету госпожи Соловой. Только что она начала приходить в восторг от нарисованной красавицы, как послышался резкий голос в коридоре:

— Где же это она пропала! Паша!!

Гостья моя вздрогнула и побледнела.

— Тетенька, — прошептала она и бросилась к дверям, у дверей остановилась, и, приложа пальчик к губам, с минуту постояла, и скрылась.

Посмеявшись этому оригинальному приключению, отправились мы с Йохимом к Карлу Павловичу.

Приключение это само по себе ничтожно, но меня оно как будто беспокоит, оно у меня из головы не выходит, я об нем постоянно думаю; Йохим иногда подтрунивает над моей задумчивостью, и мне это не нравится. Мне даже досадно, зачем он случился при этом приключении.

Сегодня я получил письмо от Штернберга. Он собирается в какой-то поход на Хиву и пишет, чтобы не ждать его к праздникам, как он прежде писал, в Петербург. Мне скучно без него. Он для меня никем не заменимый. Михайлов уехал к своему мичману в Кронштадт, и я уже более двух недель его не вижу. Прекрасный художник, благороднейший

человек и, увы! самый безалаберный. На время его отсутствия я пригласил к себе, по рекомендации Фицтума, студента Демского. Скромный, и прекрасно образованный, и вдобавок бедный молодой поляк. Он целый день проводит в аудитории, а по вечерам занимается со мною французским языком и читает Гиббона. Два раза в неделю, по вечерам, я хожу в зало Вольного экономического общества слушать лекции физики профессора... Хожу еще, вместе с Демским, раз в неделю слушать лекции зоологии профессора Куторги . У меня, как вы сами видите, даром время не проходит. Скучать совершенно некогда, а я все-таки скучаю. Мне чего-то недостает, а чего — я и сам не знаю. Карл Павлович теперь ничего не делает и почти дома не живет. Я с ним вижуся весьма редко, и то на улице. Прощайте, мой незабвенный, мой благодетель. Не обещаюсь вам писать вскоре: время у меня проходит скучно, монотонно, — писать не о чем, и я не хотел бы, чтобы вы дремали над моими однообразными письмами так, как я теперь дремлю над этим посланием. Еще раз прощайте!"

"Я обманул вас. Не обещал вам писать вскоре, и вот не прошло еще и месяца после последнего моего послания, я опять принимаюсь за послание. Событие поторопило. Оно-то обмануло вас, а не я. Штернберг заболел в хивинском походе, и умный, добрый Даль посоветовал ему оставить военный лагерь и возвратиться восвояси, и он совершенно неожиданно явился передо мною 16 декабря ночью. Если бы я был один в комнате, то я принял бы его за видение и, разумеется, испугался бы; но мы были с Демским и переводили самую веселую главу из "Брата Якова" Поль де Кока . Следовательно, явление Штернберга мне показалось почти естественным явлением, хотя удивление и радость моя от этого нисколько не уменьшились. После первых объятий и лобзаний отрекомендовал я ему Демского, и как еще было только десять часов, то мы отправились в "Берлин" напиться чаю. Ночь, разумеется, прошла в расспросах и рассказах. На рассвете Штернберг изнемог и заснул, а я, дождавшись утра, принялся за его портфель, такую же полную, как и прошлого года он привез из Малороссии. Но здесь уже не та природа, не те люди. Хотя все так же прекрасно и выразительно, но совершенно все другое, кроме меланхолии, но это,

может быть, отражение задумчивой души художника. Во всех портретах Ван-Дейка господствующая черта — ум и благородство, и это объясняется тем, что Ван-Дейк сам был благороднейший умница. Так и я толкую себе общую экспрессию прекрасных рисунков Штернберга.

О, если б вы знали, как весело, как невыразимо быстро и весело мелькают для меня теперь дни и ночи. Так весело, так быстро, что я не успеваю выучивать миниатюрного урока г. Демского, за что и грозит он вовсе от меня отказаться. Но, боже сохрани, я себя до этого не доведу. Знакомства наши не уменьшились, не увеличились, все те же, но все они расцвели, так повеселели, что мне просто не сидится дома. Хотя, правду вам сказать, дома у меня тоже не без прелести, не без очарования! Я говорю о соседке, о той самой воровке, что у дверей поймал Йохим. Что это за милое, невинное создание! Настоящий ребенок! И самый прекрасный, неиспорченный ребенок. Она ко мне каждый день несколько раз забежит, попрыгает, полепечет и выпорхнет, как птичка. Просит меня иногда рисовать ее портрет, но никак более пяти минут не высидит. Просто ртуть. Недавно понадобилась мне женская рука для дамского портрета. Я попросил ее подержать руку, она, как добрая, согласилась. И что ж вы думаете? Секунды не подержит спокойно. Настоящий ребенок. Так я бился, бился и, наконец, должен был пригласить модель для руки. Что ж вы думаете? Только что я усадил модель и взял палитру в руки, вбегает в комнату соседка, как всегда резвая, смеющаяся, и только увидела натурщицу, вдруг окаменела, потом зарыдала и, как тигренок, бросилась на нее. Я не знал, что и делать. По счастью, случилась у меня малиновая бархатная мантилья той самой дамы, с которой я портрет писал. Я взял мантилью и накинул ей на плечи. Она опомнилась, подошла к зеркалу, полюбовалась на себя с минуту, потом бросила на пол мантилью, плюнула на нее и выбежала из комнаты. Я отпустил модель, и рука по-прежнему осталась неоконченною.

Три дня после этого происшествия не показывалась соседка в моей квартире. Если встречалась со мной в коридоре, то закрывала лицо руками и убегала в противуположную сторону. На четвертый день,

только что я пришел из класса домой и начал приготовлять палитру, как входит соседка, скромная, тихая, я просто не узнавал ее. Молча обнажила по локоть руку, села на стул и приняла позицию изображаемой дамы. Я как ни в чем не бывало взял палитру, кисти и принялся за работу. Через час рука была окончена. Я рассыпался в благодарности за такую милую услугу. Но она хоть бы улыбнулась, встала, опустила рукав и молча вышла из комнаты. Меня это, признаюся вам, задело за живое, и я теперь ломаю голову, как восстановить мне прежнюю гармонию. Так прошло еще несколько дней, гармония начала видимо восстанавливаться. Она уже не бегала от меня в коридоре, а иногда даже и улыбалась. Я уже начинал надеяться, что вот-вот дверь растворится и влетит моя птичка красноперая. Дверь, однако ж, не растворялась, и птичка не показывалась. Я начинал беспокоиться и придумывать силок для коварной птички. И когда рассеянность моя стала делаться несносною не только мне самому, но и добрейшему Демскому, в это самое время, как ангел с неба, является ко мне Штернберг из киргизской степи.

Теперь я живу совершенно одним Штернбергом и для одного Штернберга, так что если б соседка не попадалась мне иногда в коридоре, то, может быть, я бы и совсем ее забыл. Ей ужасно хочется забежать ко мне, но вот горе: Штернберг постоянно дома, а если уходит со двора, то и я с ним ухожу. На празднике она, однако ж, не утерпела, и так как нас по вечерам дома не бывает, то она замаскировалася днем и прибежала к нам. Я притворился, что не узнаю ее. Она долго вертелася и всячески старалася показать, чтобы я узнал ее, но я упорно стоял на своем. Наконец она не вытерпела, подошла ко мне и почти вслух сказала:

— Несносные! ведь это я!

— А когда вы, снимите маску, — сказал я шепотом, — тогда я узнаю, кто вы!

Она немного замялася, потом сняла маску, и я отрекомендовал ей Штернберга.

С того дня у нас пошло все по-прежнему. С Штернбергом она не церемонится точно так же, как и со мною. Мы ее балуем разными лакомствами и обращаемся с нею, как добрые братья с родною сестрою.

— Кто она такая? — однажды спросил меня Штернберг.

Я не знал, что отвечать на этот внезапный вопрос. Мне никогда и в голову не приходило спросить ее об этом.

— Должно быть, или сирота, или дочь самой беспечной матери, — продолжал он. — Во всяком случае она жалка. Умеет ли она хоть грамоте?

— И этого не знаю, — отвечал я нерешительно.

— Давать бы ей читать что-нибудь. Все бы голова не совсем была праздна. А кстати, узнай, если она читает, то я ей подарю весьма моральную и мило изданную книгу. Это "Векфильдский священник" Гольдсмита. Прекрасный перевод и прекрасное издание. — А минуту спустя продолжал он, обращаясь ко мне с улыбкою: — Ты замечаешь, я сегодня чувствую себя в припадке морали. Например, вопрос такого рода: чем могут кончиться визиты этой наивной резвушки?

По мне пробежала легонькая дрожь. Но я сейчас же оправился и отвечал:

— Я думаю, ничем.

— Дай бог, — сказал он и задумался.

Я всегда любуюся его благородной, детски-беззаботной физиономией, но теперь эта милая физиономия мне показалася совсем не детской, а созревшей и прочувствовавшей на свою долю физиономией. Не знаю почему, но мне невольно на мысль пришла Тарновская, и он как бы подстерег эту мысль, посмотрел на меня и глубоко вздохнул.

— Береги ее, мой друг! — сказал он. — Или сам берегись ее. Как ты сам себя чувствуешь, так и делай. Только помни и никогда не забывай, что женщина — святая, неприкосновенная вещь и вместе так обольстительна, что никакая сила воли не в силах противустать этому обольщению. Кроме только чувства самой возвышенной евангельской любви. Оно одно только может защитить ее от позора, а нас от вечного упрека. Вооружись же этим прекрасным чувством, как рыцарь железным панцирем, и иди смело на врага. — Он на минуту замолчал. — А я страшно постарел с прошлого года, — сказал он, улыбаясь. — Пойдем лучше на улицу, в комнате что-то душно кажется.

Долго молча мы ходили по улице, молча возвратились на квартиру и легли спать.

Поутру я ушел в класс, а Штернберг остался дома. В одиннадцать часов я прихожу домой и что же вижу? Вчерашний профессор морали нарядил мою соседку в бобровую с бархатным верхом и с золотою кистью татарскую шапочку и какой-то красный шелковый, татарский же, шугай и сам, надевши башкирскую остроконечную шапку, наигрывает на гитаре качучу, а соседка, что твоя Тальони, так и отделывает соло.

Я, разумеется, только всплеснул руками, а они хоть бы тебе глазом повели — продолжают себе качучу как ни в чем не бывало. Натанцевавшись до упаду, она сбросила шапочку, шугай и выбежала в коридор, а моралист положил гитару и захохотал, как сумасшедший. Я долго крепился, но наконец не вытерпел и так чистосердечно завторил,

что примо заглушил. Нахохотавшись до упаду, уселись мы на стульях один против другого, и, с минуту помолчав, он первый заговорил:

— Она самое увлекательное создание. Я хотел было нарисовать с нее татарочку, но она не успела нарядиться, как принялася танцевать качучу, а я, как ты видел, не утерпел и, вместо карандаша и бумаги, схватил гитару, а остальное ты знаешь. Но вот чего ты не знаешь. До качучи она рассказала мне свою историю, разумеется, лаконически, да подробности едва ли она и сама знает, но все-таки, если б не эта проклятая шапка, она бы не остановилась на половине рассказа, а то увидела шапку, схватила, надела — и все забыто. Может быть, она с тобою будет разговорчивее, выспроси у нее хорошенько. Ее история должна быть самая драматическая история. Отец ее, говорит она, умер в прошлом году в Обуховской больнице.

В это время дверь растворилась и вошел давно не виданный Михайлов, а за ним удалый мичман. Михайлов без дальних околичностей предложил нам завтрак у Александра. Мы переглянулись с Штернбергом и, разумеется, согласились. Я заикнулся было насчет класса, но Михайлов так неистово захохотал, что я молча надел шляпу и взялся за ручку двери.

— А еще хочет быть художником! Разве в классах образуются истинные великие художники? — торжественно произнес неугомонный Михайлов.

Мы согласились, что лучшая школа для художников — таверна, и в добром согласии отправились к Александру.

У Полицейского моста мы встретили Элькана, прогуливающегося с каким-то молдаванским бояром и разговаривающего на молдаванском наречии. Мы взяли и его с собой. Странное явление этот Элькан. Нет языка, на котором бы он не говорил. Нет общества, в котором бы он не встречался, начиная от нашей братии. и оканчивая графами и князьями.

Он, как сказочный волшебник, везде и нигде. И на Английской набережной, у конторы пароходства, — приятеля за границу провожает, и в конторе дилижансов или даже у Средней рогатки — тоже провожает какого-нибудь задушевного москвича, и на свадьбе, и на крестинах, и на похоронах, и все это в продолжение одного дня, который он заключает присутствием своим во всех трех театрах. Настоящий Пинетти . Его иные остерегаются, как шпиона, но я в нем не вижу ничего похожего на подобное создание. Он, в сущности, неумолкаемый говорун и добрый малый и вдобавок плохой фельетонист. Его еще в шутку называют Вечным Жидом, и это он сам находит для себя приличным. Он со мною иначе не говорит, как по-французски, за что я ему весьма благодарен: это для меня хорошая практика.

Вместо завтрака у Александра мы плотно пообедали и разошлися восвояси. Михайлов и мичман у нас переночевали и поутру уехали в Кронштадт. Святки прошли у нас быстро, значит, весело. Карл Павлович велит мне приготовляться к конкурсу на вторую золотую медаль. Не знаю, что-то будет? Я так мало еще учился. Но с божиею помощию попробуем. Прощайте, мой незабвенный благодетель. Не имею вам ничего сказать более".

"Уже и масленица, и великий пост, и, наконец, праздники прошли, а я вам не написал ни одного слова. Не подумайте, мой бесценный, мой незабвенный благодетель, что я забываю вас! Боже меня сохрани от подобного греха. Во всех помышлениях, во всех начинаниях моих вы, как самое светлое, самое отрадное существо, присутствуете в моей благодарной душе. Причина же моего молчания очень проста: не о чем писать, однообразие. Нельзя сказать, чтобы это однообразие было скучное, монотонное. Напротив, дни, недели и месяцы для меня летят незаметно. Какое благодетельное дело труд, особенно если он находит поощрение! А я, слава богу, в поощрении не нуждаюсь: на экзаменах я постоянно не сажусь ниже третьего №. Карл Павлович постоянно мною доволен — какое же может быть отраднее, существеннее поощрение для художника? Я безгранично счастлив! Эскиз мой на конкурсе

приняли без малейшей перемены, и я уже принялся за программу. Сюжет я полюбил, он мне совершенно по душе, и я весь ему предался. Это сцена из "Илиады" — Андромаха над телом Патрокла . Теперь только я совершенно понял, как необходимо изучение антиков и вообще жизни и искусства древних греков. И как мне в этом случае французский пригодился. Я не знаю, как благодарить доброго Демского за эту услугу.

Мы очень оригинально встретили праздник Христова воскресения с Карлом Павловичем. Он днем еще говорил мне, что намерен идти к заутрене в Казанский собор, чтобы посмотреть свою картину при огненном освещении и крестный ход. Ввечеру велел он подать чай в 10 часов, чтобы незаметнее прошло время. Я налил ему и себе чаю. Он закурил сигару, лег на кушетку и начал читать вслух "Пертскую красавицу". А я ходил взад и вперед по комнате. Только я и помню. Потом слышу неясно как будто гром, раскрываю глаза — в комнате светло, лампа на столе едва горит, Карл Павлович спит на кушетке, книга на полу лежит, а я лежу в креслах и слушаю, как из пушек стреляют. Погасивши лампу, я тихонько вышел из комнаты и пошел к себе на квартиру. Штернберг еще спал. Я умылся, оделся и вышел на улицу. Люди уже с освященными пасхами выходили из Андреевской церкви. Утро было настоящее праздничное. И знаете, что меня больше всего занимало в это время? Совестно сказать. А сказать необходимо, необходимо потому, что мне грешно было бы скрывать от вас какую бы то ни было мысль или ощущение. Я был в это время настоящий ребенок. Меня больше всего занимал тогда мой новый непромокаемый плащ. Не странно ли? Меня тешит праздничная обнова. А если подумать, так и не странно. Глядя на полы своего блестящего плаща, я думал: "Давно ли я в затрапезном, запачканном халате не смел и помышлять о подобном блестящем наряде. А теперь! Сто рублей бросаю за какой-нибудь плащ. Просто Овидиево превращение . Или, бывало, промыслишь как-нибудь эту бедную полтину и несешь ее в раек, не выбирая спектакля. И за полтину, бывало, так чистосердечно нахохочуся и горько наплачуся, что иному и во всю жизнь свою не приведется так плакать и так смеяться. И давно ли то было? Вчера, не дальше, — и такая чудная перемена.

Теперь, например, я уже иначе не иду в театр, как в кресла и редко когда в места за креслами, и иду смотреть не что попало, а норовлю попасть или на бенефис, или на повторение бенефиса, или хоть и старое что-нибудь, то всегда с выбором. Правда, что я утратил уже тот непритворный смех и искренние слезы, но мне их почти не жаль". Вспоминая все это, я вас вспоминаю, мой незабвенный благодетель, и то святое утро, в которое вас сам бог навел на меня в Летнем саду, чтобы взять меня из грязи и ничтожества.

Праздник встретил я в семействе Уваровых. Не подумайте — графов. Боже сохрани, мы еще так высоко не летаем. Это простое, скромное купеческое семейство, но такое доброе, милое, гармоничное, что дай бог, чтобы все семейства на свете были таковы. Я принят у них, как самый близкий родной. Карл Павлович тоже их нередко посещает.

Праздник провели мы весело. В продолжение недели ни разу не обедали у мадам Юргенс, а все в гостях — то у Йохима, то Шмидта, то Фицтума, а вечера или в театре, или у Шмидта. Соседка наша по-прежнему нас посещает, и все такая же шалунья, как и прежде была. Жаль, что она не может служить мне моделью для Андромахи: слишком молода и субтильна, если можно так выразиться. Я удивляюсь, что это за женщина ее тетенька. Она, кажется, и не думает о своей шалунье племяннице. Она иногда у нас бесится часа два сряду, а тетеньке и нуждушки нет. Странно! Штернберг досказал мне ее историю. Матери она не помнит, а отец ее был какой-то бедный чиновник и, как кажется, пьяница, потому что когда они жили в Коломне, то он каждый день приходил из должности "краснехонькой" (как она сама выразилась) и сердитый, и если у него были деньги, то он посылал ее в кабак за водкою, а если денег не было, то посылал ее на улицу просить милостыню. А вицмундир носил всегда с прорванными локтями. Тетка, ее теперешняя покровительница, а его родная сестра, иногда приходила к ним и просила его, чтобы он Пашу отдал ей на воспитание, но он и слышать не хотел. Долго ли они так жили в Коломне, она не помнит. Только однажды зимою он из должности не пришел ночевать на квартиру, она одна ночевала дома и ничего не боялась. На другую

ночь он тоже не приходил, а на третий день уже пришел за нею от отца из Обуховской больницы служитель. Она пошла к нему, и служитель дорогой ей рассказал, что отца ее будочники ночью подняли на улице и отправили в часть, а из части уже на другой день в горячке привезли его в больницу и что прошлой ночью он ненадолго пришел в себя, сказал свою фамилию, рассказал, где его квартира, и просил привести ее к себе. Больной отец не узнал ее и прогнал от себя. Тогда она пошла к тетке и осталась у нее.

Вот и вся ее грустная история.

На днях подарил ей Штернберг "Векфильдского священника". Она схватила книгу, как дитя хватает хорошенькую игрушку, и, как дитя, поиграла ею, посмотрела картинки и бросила на стол, а уходя и не вспомнила о книге. Штернберг решительно уверен, что она безграмотна, я то же думаю, судя по ее печальному детству. У меня даже родилася мысль (если она действительно безграмотна) выучить ее по крайней мере читать. Штернбергу мысль моя понравилась, и он вызвался помогать мне. И он так уверен в ее безграмотности, что в тот же день пошел в книжную лавку и купил азбуку с картинками. Но благой проект наш только проектом и остался. Вот почему. На другой день, когда мы хотели приступить к первой лекции, приехал из Крыма Айвазовский и остановился у нас на квартире. Штернберг с восторгом встретил своего товарища. Но мне, не знаю почему, на первый раз он не понравился. В нем есть, несмотря на его изящные манеры, что-то не симпатическое, не художническое, а что-то вежливо-холодное, отталкивающее. Портфели своей он нам не показывает, говорит — оставил в Феодосии у матери, а дорогой ничего не рисовал, потому что торопился застать первый заграничный пароход. Он прожил с нами, однако ж, с лишком месяц, не знаю по каким обстоятельствам. И в продолжение этого времени соседка нас ни разу не посетила: она боится Айвазовского. И я его за это готов каждый день проводить за границу. Но вот мое горе: с ним вместе и мой бесценный Штернберг уезжает.

Еще прошло несколько дней, и мы проводили моего Штернберга до Кронштадта. Около его собралось нас человек десять, а около Айвазовского ни одного. Странное явление между художниками! В числе провожавших Штернберга был и Михайлов. И одолжил же он нас! После дружеского веселого обеда у Стеварта он заснул богатырски. Мы его хотели разбудить, но не могли и, взявши пару бутылок клико, отправились с Штернбергом на пароход. На палубе "Геркулеса" выпили вино, вручили нашего друга г. Тыринову (начальнику парохода), простились и возвратилися уже вечером в трактир. Михайлов уже полупроснулся. Мы принялися рассказывать ему, как провожали мы Штернберга, — он молчал, и как были на пароходе, — он все молчал, и как выпили две бутылки клико. "Негодяи! — проговорил он при слове "клико". — Не разбудили товарища проводить!.."

Скучно мне без моего милого Штернберга. Так скучно, что я не только от квартиры, где мне все его напоминает, даже от резвой соседки своей готов бежать. Не пишу вам теперь ничего больше — скучно, а я вам не хочу навести скуку своим монотонным посланием. Примусь лучше за программу. Прощайте".

"Лето так у меня быстро промелькнуло, быстрее, чем у праздного денди одна минута. Я после выставки едва только заметил, что оно уже кануло в вечность. А между прочим, в продолжение лета мы с Йохимом несколько раз посещали на Крестовском острове старика Кольмана, и под его руководством я сделал три этюда: две ели и одну березу. Добрейшее создание этот Кольман! Шмидты возвратились уже в город, и они-то мне напомнили своими упреками, что уже прошло лето. Я их ни разу не посетил. Далеко, а у меня все дни и ночи были отданы программе. Зато как они искренне поздравляли меня с успехом. Да, с успехом, мой незабвенный благодетель! Какое великое дело для ученика программа! Это его пробный камень, и какое великое для него счастье, если он на этом камне оказался не поддельным, а истинным художником. Я это счастье вполне испытал. Не могу описать вам этого чудного, этого беспредельно сладкого чувства. Это продолжительное присутствие всего святого, всего прекрасного в мире в одном человеке.

Зато какое горькое, какое мучительное состояние души предшествует этой святой радости. Это ожидание. Несмотря на то, что Карл Павлович уверял меня в успехе, я так страдал, как страдает преступник перед смертной казнью. Нет, больше. Я не знал, умру ли я или останусь в живых, а это, по-моему, тягостнее. Приговор еще не был произнесен. И в ожидании этого страшного приговора зашли мы с Михайловым к Дели сыграть партию в бильярд, но у меня дрожали руки, и я не мог сделать ни одного шара, а он, как ни в чем не бывало, так и режет. А ведь он тоже был под судом. Его программа стояла рядом с моею. Меня бесило такое равнодушие. Я бросил кий и ушел к себе на квартиру. В коридоре встретила меня смеющаяся, счастливая соседка.

— Что? — спросила она меня.

— Ничего, — ответил я.

— Как ничего? А я убрала вашу комнату, как для. светлого праздника. А вы идете такой скучный. — И она тоже хотела сделать скучную мину, но никак не могла.

Я поблагодарил ее за внимание и просил в комнату. Она так детски-непритворно стала утешать меня, что я не утерпел, расхохотался.

— Ничего еще не известно, экзамен еще не кончился, — сказал я.

— Так зачем же вы меня обманули, бессовестный! Если б знала, не убирала б и комнату. — И она надула розовенькие губки. — У Михайлова, — продолжала она, — небось, я не убрала. Пускай себе с своим мичманом валяются, как медведи в берлоге, мне какое дело!

Я поблагодарил ее за предпочтение и спросил ее, будет ли она рада, если Михайлов медаль получит, а я нет.

— Я ему руки переломаю. Глаза выцарапаю. Я его убью до смерти!

— А если я?

— Я тогда сама умру от радости.

— За что же мне такое предпочтение? — спросил я ее.

— За что?.. За то... за то... что вы меня обещалися зимою грамоте учить...

— И сдержу слово, — сказал я.

— Идите же в Академию, — сказала она, — и узнайте, что там делается, а я вас подожду в коридоре. "

— Зачем же не здесь? — спросил я.

— А если придет мичман, что я тогда буду делать?

"Правда", — подумал я и, не говоря ни слова, вышел в коридор. Она замкнула дверь и ключ спрятала в карман.

— Я не хочу, чтобы они без вас вошли в вашу комнату и что-нибудь испортили. — "С чего она взяла, что они у меня что-нибудь испортят, — подумал я, — так просто, детский каприз".

— До свидания! — сказал я, спускаясь по лестнице. — Пожелайте мне счастья.

— От всей души! — сказала она восторженно и скрылась. Я вышел на улицу. Я боялся войти в Академию. Академические ворота мне показалися разинутою пастью какого-то страшного чудовища. Побродивши до поту на улице, я перекрестился и пробежал в страшные ворота. Во втором этаже, в коридоре, как тени у Харонова перевоза ,

блуждали мои нетерпеливые товарищи. В толпу их и я вмешался. Профессора уже прошли из цыркуля в конференц-зало. Ужасная минута близилась. Андрей Иванович (инспектор) вышел из круглой залы, я ему первый попался навстречу, и он, проходя мимо меня, шепнул мне:

— Поздравляю.

Я в жизнь свою не слыхал и не услышу такого сладкого, такого гармонического звука. Я стремглав бросился домой и в восторге расцеловал мою соседку. Хорошо еще, что никто не видел, потому что это было на лестнице. Хотя я здесь ничего предосудительного не вижу, но все-таки слава богу, что никто не видел.

Так или почти так совершился этот душу потрясающий экзамен. И все то, что я вам написал теперь, это только темный силуэт с живой природы, слабая тень настоящего происшествия. Его ничем нельзя выразить — ни пером, ни кистью, ни даже живыми словами.

Михайлову экзамен не удался. Боже сохрани, если бы со мной случилось подобное несчастье. Я бы с ума сошел, а он как ни в чем не бывало зашел на квартиру, надел теплое пальто и уехал к своему мичману в Кронштадт. Я не знаю, что у него за симпатия к этому мичману. Я в нем совершенно ничего не нахожу привлекающего, а он от него без души. Сначала, правда, он и мне понравился, но это ненадолго. А бедный мой учитель Демский! Вот истинно симпатический человек. Он, бедный, болен, и неизлечимо болен. Чахотка в последнем периоде. Он еще ходит, но едва-едва ходит. На днях зашел поздравить меня с медалью, и мы с ним провели вечер в самой сладкой дружеской беседе. Он мне предсказывал мое будущее с таким убеждением, так натурально, живо, что я невольно ему верил. И бедный Демский, он и не подозревает своей болезни. Он так искренно увлекается своим будущим, как может увлекаться только полный здоровья юноша. Счастливец, если можно назвать мечту счастием! Он говорит, что главное и самое трудное уже уничтожено, т. е. нищета, что он не обязан уже просиживать ночи над перепиской лекций за какой-нибудь

рубль, что он, теперь совершенно независим от нищеты, может предаться своей любимой науке, что он, если не превзойдет своего идола Лелевеля в отечественной истории, то по крайней мере сравняется с ним, что будущая его диссертация откроет ему все средства осуществить свои блестящие надежды. А между тем бедняк кашляет кровью и старается это скрыть от меня. И, боже мой, чего бы я не отдал за осуществление его пламенных желаний! Но увы! совершенно никакой надежды. Едва ли проживет он и до вскрытия Невы.

В минуту самых сердечных излияний Демского с шумом створилася дверь и вошел удалый мичман.

— Что, Мишка у себя? — спросил он, не снимая шапки.

— Он вчера еще уехал к вам, — отвечал я.

— Значит, мы с ним разъехались. Пусть его прогуляется. А между прочим, я у вас ночую.

И он вошел в комнату Михайлова. Я ему подал свечу. Что мне было делать? Я Демскому предложил постель Михайлова в совершенной надежде, что у нас ее никто не завоюет. Демский заметил мое невыгодное положение, улыбнулся, взял шапку и протянул мне руку. Я тоже молча взял шапку и вышел с ним на улицу, предоставив мичмана самому себе. Проводивши Демского до его квартиры, я весьма неохотно возвратился назад, и что же застаю дома? Соседка моя не знала, что меня дома нет, и забежала в мою комнату, а удалый полураздетый мичман схватил ее и хотел было дверь на ключ запереть, но в это время я подошел к двери и помешал ему. Соседка вырвалась у него из рук, плюнула ему в лицо и убежала.

— Настоящая ртуть, — сказал мичман, утираясь. Меня эта сцена оскорбила, но я этого не дал ему заметить, и как еще было не поздно,

то без церемонии оставил его на квартире, а сам пошел искать лучшего товарища коротать осенний вечер.

Визиты мои товарищам были неудачны, я кланялся только замкам дверей, к Шмидтам идти было поздно, Карла Павловича тоже не было дома, и я не знал, что с собою делать. Меня мучил проклятий мичман. Я ненавидел его. Не знаю, была ли то ревность. Или просто чувство отвращения к человеку, который поругал святое чувство скромности в женщине. Женщина, какая бы она ни была, мы ей обязаны если не уважением, так по крайней мере приличием. А мичман пренебрег и то, и другое.. Он просто пьян или в глубине души мерзавец. Я как-то невольно верую в последнее.

В квартире Карла Павловича засветился огонь, и я зашел к нему и у него переночевал. Карл Павлович заметил, однако ж, мое ненормальное состояние, но был так любезен, что не сделал мне ни одного вопроса. Велел мне сделать постель в одной комнате с собою и сам стал читать вслух. То была книга Вашингтона Ирвинга "Христофор Колумб". Читая, он тут же импровизировал картину, как неблагодарные испанцы выводят с баркаса на берег обремененного цепями великого адмирала. Какая грустная, поучительная картина. Я предложил ему лоскуток бумаги и карандаш, но он отказался и продолжал читать.

Так однажды во время ужина, рассказывая свое путешествие по древней Элладе, он набросал чудную картину под названием "Афинский вечер" . Картина представляла афинскую улицу, освещенную вечерним солнцем. На горизонте вчерне оконченный Парфенон, но еще леса не убраны. На первом плане, среди улицы, пара буйволов везет мраморную статую "Река Илис" Фидия. Сбоку сам Фидий, встречаемый Периклом и Аспазией и всем, что было славного в Перикловых Афинах, начиная с знаменитой гетеры и до Ксантиппы . И все это освещено лучами заходящего солнца. Великолепная картина. Что "Афинская школа" перед этой животрепещущей картиной? А он именно потому только ее и не исполнил, что уже существует "Афинская школа". И. сколько подобных картин он оканчивает или вдохновенным словом, или

вершковым эскизом в своем весьма невеликолепном альбоме. Так, например, прошедшей зимой он начертил несколько самых миниатюрных эскизов на одну и ту же тему. Я ничего не мог понять и только догадывался, что великий мой учитель замышляет что-то великое. И я не обманулся в своих догадках.

Нынешнее лето я стал замечать, что он до восхода солнечного ежедневно начал уходить в свою мастерскую, в портик, в своей серой рабочей куртке и оставался там до самого вечера. Один Лукьян только знал, что там совершается, потому что он приносил ему воду и обед. Я тогда работал над программой и не мог предложить ему услуг книгочия, хотя я был уверен, что он охотно принял бы такую услугу, потому что он любит чтение. Так прошло три недели. Я трепетал от нетерпения. Никогда он так постоянно не посещал свою студию. Должно быть, что-нибудь необыкновенное. Да и что обыкновенное создает такой колоссальный гений!

Однажды я перед вечером отпустил натурщика, хотел выйти на улицу. В коридоре встретился мне Карл Павлович с небритой бородою. Он пожелал видеть мою программу. Я с трепетом ввел его в свой кабинет, он сделал несколько неважных замечаний и сказал: "Теперь пойдем смотреть мою программу". И мы пошли в портик. Я не знаю, рассказывать ли вам о том, что я там увидел? Рассказать я вам должен. Но как я расскажу нерассказываемое?

Отворив двери в мастерскую, мне представилось огромное темное полотно, натянутое на раму. На полотне черной краской написано: "Нач. 17 июля". За полотном музыкальный ящик играл хор ноблей из "Гугенотов" . С замиранием сердца прошел я за полотно, оглянулся, и у меня дыхание захватило: передо мною стояла не картина, а со всем ужасом и величием живая осада Пскова . Вот где смысл крошечных эскизов. Вот для чего он прошедшее лето делал прогулку в Псков. Я знал о его предположении, но никогда не мог вообразить себе, чтобы это так быстро исполнилось. Так быстро и так прекрасно! Пока я сделаю

для вас небольшой контур с этого нового чуда, опишу вам его, разумеется, весьма ограниченно.

На правой стороне от зрителя, на третьем плане картины, взрыв башни, немного ближе пролом в стене и в проломе — рукопашная схватка. Да такая схватка, что смотреть страшно; кажется, слышишь крики и звон мечей о железные ливонские, польские, литовские и бог знает еще о какие железные шлемы. На левой стороне картины, на втором плане, крестный ход с хоругвями и иконой божией матери, торжественно-спокойно предшествуемый епископом с мечом святого Михаила, князя псковского. Какой удивительный контраст! На первом плане, в середине картины, бледный монах с крестом в руке, верхом на гнедой лошади. По правую сторону монаха издыхающий белый конь Шуйского, а сам Шуйский бежит к пролому с поднятыми вверх руками. По левую сторону монаха благочестивая старуха благословляет юношу или, лучше сказать, мальчика на супостата. Еще левее девушка поит водою из ведра утомленных воинов. А в самом углу картины полуобнаженный умирающий воин, поддерживаемый молодою женщиною, быть может, будущей вдовою. Какие чудные, разнообразные эпизоды! И я вам их и половины не описал. Мое письмо было бы бесконечно и все-таки не полно, если бы я вздумал описывать все подробности этого совершенства искусства.

Удовольствуйтесь на первый раз хоть этим прозаическим очерком в высшей степени поэтического произведения. Со временем пришлю вам контур с него, и вы тогда яснее увидите, что это за божественное произведение.

О чем же мне еще писать вам, мой незабвенный благодетель? Я так редко и так мало пишу вам, что мне совестно. Упреки ваши, что я ленив писать, не совсем справедливы. Я не ленив, а не мастер о обыденной жизни своей рассказывать увлекательно, как это другие умеют делать. Я недавно (собственно для писем) прочитал "Клариссу" , перевод Жюля Жанена, и мне понравилось одно предисловие переводчика. А письма такие сладкие, такие длинные, что из рук вон. И как это достало

терпения у человека написать такие бесконечные письма? А письма из-за границы мне еще менее понравились: претензии много, а толку мало. .Педантизм, и больше ничего. Я, признаюсь вам, имею сильное желание выучиться писать, да не знаю, как это сделать. Научите меня. Ваши письма так хороши, что я их наизусть выучиваю. А пока овладею вашим секретом, буду вам писать, как сердце продиктует. И моя простосердечная откровенность пускай пока заменит искусство.

Переночевавши у Карла Павловича, я часу в десятом весьма неохотно пошел к себе на квартиру. Михайлов уже был дома и наливал в стакан едва проснувшемуся мичману какое-то вино, а моя ветреная соседка как ни в чем не бывало выглядывала из моей комнаты и хохотала во все горло. Никакого самолюбия, ни тени скромности. Простая ли это, естественная наивность? Или это следствие уличного воспитания? Вопрос для меня неразрешимый. Неразрешимый потому, что я к ней безотчетно привязан, как к самому милому ребенку. И, как настоящего ребенка, я посадил ее за азбучку. По вечерам она твердит склады, а я что-нибудь черчу или с нее же портрет рисую. Головка просто прелесть. И замечательно что? С тех пор как она начала учиться, перестала хохотать. А мне смешно становится, когда я смотрю на ее серьезное детское личико. От нечего делать в продолжение зимы я думаю написать с нее этюд при огненном освещении. В таком точно положении, как она сидит, углубившись в азбучку с указкою в руке. Это будет очень миленькая картинка — a La Грез . Не знаю, совладаю ли я с красками? В карандаше она порядочно выходит.

На днях я познакомился с ее тетушкой, и весьма оригинально. По обыкновению в одиннадцать часов утра возвращаюсь я из класса; в коридоре встречает меня Паша и именем тетеньки просит к себе на кофе. Меня это изумило. Я отказываюсь. Да и в самом деле, как войти в незнакомый дом и прямо на угощение? Она, однако ж, не дает мне выговорить слова, тащит меня за рукав к своим дверям, как упрямого теленка. Я, как теленок, упираюсь и уже чуть-чуть не освободил свою руку, как растворилася дверь и явилася на помощь сама тетенька. Не

говоря ни слова, схватывает меня за другую руку, и втаскивают в комнату; двери на ключ — и просят быть как дома.

— Прошу покорно, без церемонии, — говорит запыхавшись хозяйка. — Не взыщите на простоте. Пашенька, что же ты рот разинула? Неси скорее кофей!

— Сейчас, тетя! — отозвалась Паша из другой комнаты и через минуту явилась с кофейником и чашками на подносе. Настоящая Геба . Тетя тоже немного смахивала на Тучегонителя .

— Нам с вами давно хотелося познакомиться, — так начала гостеприимная хозяйка. — Да все как-то случаю не выпадало, а сегодня, слава богу, я таки поставила на своем. Уж вы нас извините за простоту. Не угодно ли чашечку кофею? Давно что-то нашей охтянки не видать. А в лавочке сливки такая дрянь, да что будешь делать? Ко мне Паша давно уже пристает, чтоб я познакомилася с вами, да вы-то такой нелюдим, настоящий затворник, и в коридор-то вы лишний раз не выглянете. Кушайте еще чашечку. Вы с нашей Пашенькой просто чудо сотворили. Мы ее просто не узнаем. С утра до ночи за книжкой, воды не замутит, так что даже любо. А вчера, вообразите наше удивление, достала с картинками книжку, ту самую, что ваш товарищ подарил ей, раскрыла и принялася читать, правда, еще не совсем бойко, но понимать совершенно все можно. Как бишь называется эта книга?

— "Векфильдский священник", — сказала Паша, выходя из-за перегородки.

— Да, да, священник. Как он, бедный, и в остроге сидел, как он и дочь свою беспутную отыскивал. Всю книжку, как есть, прочитала, куда и сон девался. "Кто это выучил тебя?" — спрашиваю я ее. Она говорит — вы. Вот уж, правду сказать, одолжили вы нас. Кирило Афанасьич мой если не в должности, так дома сидит за бумагами. Настанет вечер, мы и

примемся за молчанку, и вечер тебе годом кажется. А теперь! Да я просто и не видала, как он пролетел! Не угодно ли еще чашечку?

Я отказался и хотел уйти. Не тут-то было. Самым нецеремонным образом хозяйка схватила мене за руку и усадила на свое место, приговаривая:

— Нет, у нас — не знаем, как у вас! — так не делают. Вошел и вышел. Нет, просим покорно побеседовать с нами да закусить чем бог послал.

От закуски и от беседы я, однако ж, отказался, ссылаясь на боль в животе и на колотье в боку, чего у меня, слава богу, никогда не бывало. А дело в том, что мне нужно было идти в класс, — первый час уже был в исходе. На честное слово я был отпущен до семи часов вечера. Верный данному слову, в семь часов вечера я явился к гостеприимной соседке. Самовар уже был на столе, и она меня встретила со стаканом чая в руках. После первого стакана чаю она отрекомендовала меня хозяину своему, как она выразилась, лысому в очках старичку, сидевшему в другой комнате за столиком над кипою бумаг. Он встал со стула, поправил очки и, протянувши мне руку, сказал:

— Прошу покорно, садитесь.

Я сел. А он снял с носа очки, протер их носовым платком, надел их опять на нос, сел молча на свое место и по-прежнему углубился в свои бумаги. Так прошло несколько минут. Я не знал, что мне делать. Положение мое становилось смешным. Хозяйка, спасибо, меня выручила.

— Не мешайте ему, — сказала она, выглядывая из другой комнаты. — Идите к нам. У нас веселее.

Я молча оставил трудолюбивого хозяина и перешел к хлопотунье хозяйке. Смиренница Паша сидела за "Векфильдским священником" и рассматривала картинки.

— Видели нашего хозяина? — сказала хозяйка. — Вот он всегда такой. Так он привык к этим бумагам, что минуты без них не проживет.

Я сказал какой-то комплимент трудолюбию и попросил Пашу, чтобы она читала вслух. Довольно медленно, но правильно и внятно прочитала она страницу из "Векфильдского священника" и была награждена от тетеньки стаканом чаю внакладку и панегириком, которого и на трех страницах не упишешь. А мне, как ментору, кроме бесконечной благодарности, предложено было рому с чаем. Но как он был еще у Фогта и Паша должна была за ним сбегать, то я отказался от рому и от чая, к немалому огорчению гостеприимной хозяйки.

В одиннадцатом часу поужинали, и я ушел, давши обещание навещать их ежедневно.

Не могу вам ясно определить, какое впечатление произвело на меня это новое знакомство. А первое впечатление, говорят, весьма важно в деле знакомства. Я доволен этим знакомством потому только, что знакомство мое с Пашей до сих пор казалось мне предосудительным, а теперь как бы все это устранилось и наша дружба как будто бы скреплялась этим нечаянно-новым знакомством.

Я стал бывать у них каждый день и через неделю был уже как старый знакомый или, лучше сказать, как свой семьянин. Они мне предложили у себя стол за ту самую цену, что и у мадам Юргенс. И я изменил доброй мадам Юргенс и не раскаиваюсь: мне наскучила беззаботная холостая компания, и я охотно принял предложение соседки. У них мне так хорошо, тихо, спокойно, все это по-домашнему, все это так в моем характере, так в гармонии с моею миролюбивою натурой. Пашу я называю сестрицей, а тетеньку ее своей тетенькой

называю, а дяденьку никак не называю, потому что я его только и вижу за обедом. Он, кажется, и по праздникам ходит в должность. Мне так хорошо у них, что я почти никуда не выхожу, окроме Карла Павловича. У Йохима не помню когда и был, у Шмидта и Фицтума тоже. Сам вижу, что нехорошо я делаю, но что же делать: не умею врать перед добрыми людьми. Недостаток светского образования, ничего больше. В следующее воскресенье сделаю им всем визиты и вечер у Шмидта проведу, а то как бы и в самом деле не раззнакомиться. Все это ничего, все это как-нибудь уладится. А вот мое горе: не могу поладить с Михайловым, т. е. собственно не с Михайловым, а с его сердечным другом мичманом. Он почти каждую ночь ночует у нас. Это бы еще ничего, а то наведет с собою бог знает каких людей, и напролет всю ночь карты и пьянство. Не хотелось бы мне переменять квартиры, а, кажется, придется, если эти оргии не прекратятся. Хоть бы скорее весна настала, — пускай бы себе ушел в море этот несносный мичман.

Начал я этюд с Паши красками при огне, очень миленькая выходит головка; жаль только, что проклятый мичман мешает работать. Хотелось бы к празднику кончить и начать что-нибудь другое, да едва ли. Я пробовал уже у соседок расположиться с работой, да все как-то неловко. Мне так понравилось огненное освещение, что, окончивши эту головку, я думаю начать другую, с Паши же — "Весталку". Жаль только, что теперь нельзя достать белых роз для венка, а это необходимо. Но это еще впереди.

Паша начинает уже хорошо читать и полюбила чтение. Это мне чрезвычайно приятно. Но я затрудняюсь в выборе чтения для ее. Романы, говорят, нехорошо читать молодым девушкам. А я, право, не знаю, почему нехорошо. Хороший роман изощряет воображение и облагораживает сердце. А сухая какая-нибудь умная книга, кроме того, что ничему не научит, да, пожалуй, еще и поселит отвращение к книгам. Я ей на первый раз дал "Робинзона Крузо" , а после предложу путешествие Араго или Дюмон-Дюрвиля, а там опять какой-нибудь роман, а потом Плутарха . Жаль, что нет у нас переведенного Вазари, а то бы я ее познакомил и с знаменитостями нашего прекрасного

искусства. Хорош ли мой план? Как вы находите? Если имеете что-нибудь сказать против его, то сообщите мне в следующем письме, и я вам буду сердечно благодарен. Меня она теперь занимает, как будто что-то близкое, родное. Я на нее, грамотную, теперь смотрю, как художник на свою неоконченную картину. И великим грехом считаю для себя предоставить ей самой теперь выбор чтения, или, лучше сказать, случай чтения, потому что ей не из чего выбирать. Лучше было не учить ее читать.

Я надоел вам своими соседками. Но что делать? По пословице: "У кого-что болит, тот о том и говорит".

А если правду сказать, то у меня теперь и говорить больше не о чем. Нигде не бываю и ничего не делаю. Не знаю, что-то мне судьба готовит будущего лета? А я его не без трепета ожидаю, да и можно ли его ожидать иначе. Будущее лето должно положить настоящий фундамент избранному мною, или, лучше сказать, вами, поприщу. Карл Павлович говорит, что вскоре после праздников будет объявлена программа на первую золотую медаль. Со мной чуть-чуть не делается обморок при одной мысли об этой роковой программе. Что, если мне удастся? Я с ума сойду. А вы? Неужели вы не приедете посмотреть трехгодовую выставку и взглянуть на мою одобренную программу и на смиренного творца ее, как на свое собственное создание? Я уверен, что вы приедете. Напишите мне о вашем приезде в следующем письме, И я буду иметь благовидный предлог отказать Михайлову от квартиры. Мичман, кажется, и ему уже надоел. Хорошо еще, что я имею приют у соседок. А то пришлось бы бегать собственной квартиры. Напишите, сделайте милость, что вы приедете. Тогда я все разом покончу.

Прощайте мой незабвенный благодетель. В следующем письме сообщу вам о дальнейших успехах моей ученицы и о следствиях предстоящего конкурса. Прощайте.

P. S. Бедный Демский уже из комнаты не может выйти. Не пережить ему весны".

По получении этого письма я написал ему, что не к выставке, а, может быть, и к святой неделе приеду к нему в гости и что приеду к нему прямо на квартиру, как Штернберг приезжал. Я написал ему это для того собственно, чтобы избавить его от неотвязчивого мичмана. Я, правду сказать, опасался за его еще не установившийся молодой характер. Чего доброго, как раз может сделаться двойником беспардонного мичмана. Тогда прощай все — и гений, и искусство, и слава, и все очаровательное в жизни. Все это уляжется, как в могиле, на дне всепожирающей рюмочки. Примеры эти, к несчастию, весьма и весьма даже нередки, в особенности у нас в России. И что за причина? Неужели одно пьяное общество может умертвить всякий зародыш добра в молодом человеке? Или тут есть еще что-нибудь для нас непонятное? А впрочем, народная мудрость вывела одно заключение: "Скажи, с чем ты знаком? Я тебе скажу, кто ты таков". А Гоголь, вероятно, тоже не без основания заметил, что русский человек, коли хороший мастер, то непременно и пьяница. Что бы это значило? Ничего больше, я полагаю, как недостаток всеобщей цивилизации. Так, например, сельский или другой какой писарь в кругу честных безграмотных мужичков — все равно, что Сократ в Афинах. А посмотрите — самое безнравственное, беспросыпно пьяное животное, потому именно, что он мастер своего дела, что он один-единственный грамотей между сотнею простодушных мужичков, на счет которых он упивается и распутничает. А они только удивляются его досужеству и никак не могут себе растолковать, что бы такое значило, что такой умнейший человек и такой великий пьяница? А простакам и невдомек, что он один между ими мастер письменного или другого какого дела, что нет ему соперника, что давальцы его навсегда останутся ему верны, потому что кроме его не к кому обратиться. И он себе спустя рукава, кое-как делает свое дело, а легкие заработки пропивает.

Вот, по-моему, одна-единственная причина, что у нас коли мастер своего дела, то непременно и горький пьяница. А кроме этого, замечено, что и между цивилизованными нациями люди, выходящие из круга обыкновенных людей, одаренные высшими душевными качествами, всегда и везде более или менее были чтителями, а нередко

и усердными поклонниками веселого бога Бахуса . Это уже, должно быть, непременное свойство необыкновенных людей.

Я лично и хорошо знал гениального математика нашего Остроградского (а математики вообще люди неувлекающиеся), с которым мне случилось несколько раз обедать вместе. Он, кроме воды, ничего не пил за столом. Я и спросил его однажды: "Неужели вы вина никогда не пьете?" "В Харькове еще когда-то я выпил два погребка, да и забастовал", — ответил он мне простодушно.

Немногие, однако ж, кончают двумя погребками, а непременно принимаются за третий. Нередко и за четвертый, и на этом-то роковом четвертом кончают свою грустную карьеру, а нередко и самую жизнь.

А он, т. е. мой художник, принадлежал к категории людей страстных, увлекающихся, с воображением горячим. (А это-то и есть злейший враг жизни самостоятельной, положительной. Хотя я и далеко не поклонник монотонной трезвой аккуратности и вседневно однообразной воловьей деятельности, но не скажу, чтобы и был я открытый враг положительной аккуратности. Вообще в жизни средняя дорога есть лучшая дорога. Но в искусстве, в науке и вообще в деятельности умственной средняя дорога ни к чему, кроме безыменной могилы, не приводит).

В художнике моем хотелося бы мне видеть самого великого, необыкновенного художника и самого обыкновенного человека в домашней жизни. Но эти два великие свойства редко уживаются под одной кровлей.

Сердечно желал бы я предвидеть и предотвратить все вредно действующие на молодое воображение моего любимца, но как это сделать — не знаю. Мичмана я решительно боюся. Да и от соседки нельзя ожидать ничего доброго. Это ясно как день. Теперь еще это могло бы кончиться разлукой и слезами, как обыкновенно кончается

первая пламенная любовь. Но при содействии тетушки, которая ему так понравилась с первого разу, кончится все это факелом Гименея и, дай бог мне ошибиться, развратом и нищетой.

Он мне прямо не говорит, что он влюблен по уши в свою ученицу. Да и какой юноша прямо откроет эту священную тайну? По одному слову своей обожаемой он бросится в огонь и в воду, прежде чем выговорит ей словами свое нежное чувство. Таков юноша, любящий искренно. А бывают ли юноши, любящие иначе?

Чтобы хоть сколько-нибудь отвлечь его от соседок, с умыслом не упоминая об них ни слова, я советовал ему посещать как можно чаще Шмидта, Фицтума и Йохима, как людей, необходимых для его внутреннего образования. Навещать старика Кольмана, которого добрые советы по части пейзажной живописи ему необходимы. И каждый божий день, как храм, как светильник прекраснейшего искусства, посещать мастерскую Карла Павловича. И во время этих посещений сделать для меня акварелью копию с "Бахчисарайского фонтана". А в заключение описал ему всю важность предстоящей программы, для которой он должен посвятить всего себя и все свои дни и ночи до самого дня экзамена, т. е. до октября месяца, — такой срок и такого рода занятие мне казались достаточными хотя немного охладить первую любовь, — и что, если мне нельзя будет на все лето остаться в столице, то к осени я непременно опять приеду собственно для его программы.

Письмо мое, как я и ожидал, имело свое доброе действие, но только вполовину: программа ему удалась, а соседки — увы! Но зачем прежде времени подымать завесу таинственной судьбы? Прочитаем еще одно и последнее его письмо.

"Волею или неволею, не знаю, а знаю только то, что вы меня жестоко обманули, мой незабвенный благодетель. Я дожидал вас, как самого дорогого моему сердцу гостя, а вы — бог вам судия... И зачем было обещать? А сколько было хлопот мне с моими жильцами, насилу

выжил. Михайлов, правда, сейчас же согласился, но неугомонный мичман дотянул-таки до самой весны, т. е. до страстной недели, и на расставаньи мы чуть было с ним не поссорились. Он непременно хотел остаться и на святую неделю, но я решительно сказал ему, что это невозможно, потому, говорю ему, что я вас дожидаю.

— Эка важная фигура ваш родственник! И в трактире может поселиться! — сказал он, покручивая свои глупые усы.

Меня это взбесило. И я готов уже был наделать бог знает каких дерзостей, да, спасибо, Михайлов остановил меня. Я не знаю, что ему особенно понравилось в нашей квартире, вероятно, только то, что она даровая, не нанятая. Зимой, бывало, Михайлов по нескольку ночей дома не ночует и днем изредка заглянет и сейчас же уйдет. А он только и выйдет пообедать да напиться пьяным и опять лежит на диване — или спит, или трубку курит. Последнее время он уже было и чемодан с бельем перетащил. И когда уже совсем я ему отказал от квартиры, так он все еще приходил несколько раз ночевать. Просто бессовестный. И еще одна странность. До самого его выезда в Николаев (он переведен в Черноморский флот) я его каждый вечер, возвращаясь из класса, встречал или в коридоре, или на лестнице, или у ворот. Не знаю, кому он делал вечерние визиты. Но бог с ним. Слава богу, что я его избавился.

Какие успехи сделала в продолжение зимы моя ученица! Просто чудо! Что, если бы начать ее учить в свое время, — из нее могла бы быть просто ученая. И какая она сделалась скромная, кроткая, просто прелесть. Детской игривости и наивности и тени не осталось.

Правду сказать, мне даже жаль, что грамотность — если это только грамотность — уничтожила в ней эту милую детскую резвость. Я рад, что хоть тень той милой наивности осталась у меня на картине. Картинка вышла очень миленькая. Огненное освещение, правда, не без труда, но удалось. Прево предлагает мне сто рублей серебром, на что я охотно соглашаюсь, только после выставки. Мне непременно хочется

представить мою милую ученицу на суд публики. Я был бы совершенно счастлив, если б вы не обманули меня в другой раз и приехали к выставке. А она в нынешнем году особенно будет интересна. Многие художники — и наши, и иностранцы из-за границы — обещают прислать свои произведения, в том числе Орас Верне, Гюден и Штейбен . Приезжайте ради самого Аполлона и девяти его прекрасных сестриц .

До сих пор моя программа идет тупо; не знаю, что дальше будет. Композицией Карл Павлович доволен, больше ничего не могу вам о ней сказать. С будущей недели примусь вплотную. А до сих пор я ее как будто бегаю. Не знаю, что это значит? Ученица моя и та уже начинает понукать меня. Ах, если б я вам мог рассказать, как мне нравится это простое, доброе семейство. Я у них как сын родной. Про тетушку и говорить нечего: она постоянно добрая и веселая. Нет, угрюмый и молчаливый дядюшка и тот иногда оставляет свои бумаги, садится с нами около шумящего самовара и исподтишка отпускает шуточки. Разумеется, самые незамысловатые. Я иногда позволяю себе роскошь, разумеется, когда лишняя копейка зазвенит в кармане: угощаю их ложей третьего яруса в Александрийском театре. И тогда всеобщее удовольствие безгранично, особенно если спектакль составлен из водевилей, а ученица и модель моя несколько дней после такого спектакля и во сне, кажется, поет водевильные куплеты. Я люблю, или, лучше сказать, обожаю, все прекрасное как в самом человеке, начиная с его прекрасной наружности, так само, если не больше, и возвышенное, изящное произведение ума и рук человека. Я в восхищении от светски образованной женщины и мужчины тоже. У них все, начиная от выражений до движений, приведено в такую ровную, стройную гармонию. У них во всех пульс, кажется, одинаково бьется. Дурак и умница, флегма и сангвиник — это редкие явления, да едва ли они и существуют между ими. И это мне бесконечно нравится. Ненадолго однако ж. Это, может быть, потому, что я родился и вырос не между ими, а грошовым воспитанием своим и подавно не могу равняться с ими. И потому-то мне, несмотря на всю очаровательную прелесть их жизни, мне больше нравится простых людей семейный быт, таких, например, как мои соседи. Между ними я совершенно спокойный, а там все чего-то

как будто боишься. Последнее время я и у Шмидтов чувствую себя неловко. И не знаю, что бы это значило? Бываю я у них почти каждое воскресенье, но не засиживаюсь, как это прежде бывало. Может быть, это оттого, что нету милого незабвенного Штернберга между нами. А кстати, о Штернберге. Я недавно получил от него письмо из Рима. Да и чудак же он препорядочный! Вместо собственных впечатлений, какие произвел на него Вечный Город , он рекомендует мне — и кого же вы думаете? — Дюпати и Пиранези . Вот чудак! Пишет, что у Лепри видел он великий собор художников, в том числе и Иванова , автора будущей картины "Иоанн Предтеча проповедует в пустыне". Русские художники подтрунивают исподтишка над ним, говорят, что он совсем завяз в Понтийских болотах и все-таки не нашел такого живописного сухого пня с открытыми корнями, который ему нужен для третьего плана своей картины. А немцы вообще в восторге от Иванова. Еще встретил он, в кафе Греко, безмерно расфранченного Гоголя, рассказывающего за обедом самые сальные малороссийские анекдоты. Но главное, что он встретил при въезде в Вечный Город, в виду купола св. Петра и в виду бессмертного великана Колизея , это качуча. Грациозная, страстная, такая, как она есть в самом народе, а не такая чопорная, нарумяненная, как ее видим на сцене. "Вообрази себе, — пишет он, — что знаменитая Тальони — копия с копии с того оригинала, который я видел бесплатно на римской улице!" Но для чего мне делать выписки, я пришлю вам его письмо в оригинале. Там вы и про себя кое-что небезынтересное прочитаете. Он, бедный, все еще вспоминает о Тарновской. Вы ее часто видите. Скажите, счастлива ли она со своим эскулапом? Если счастлива, то не говорите ей ничего про нашего друга. Не тревожьте пустым воспоминанием ее тихого семейного покоя. Если же кет, то скажите ей, что друг наш Штернберг, благороднейшее создание в мире, любит ее до сих пор так же искренно и нежно, как и прежде любил. Это усладит ее сердечную тоску. Как бы человек ни страдал, какие бы ни терпел испытания, но если он услышит одно приветливое, сердечное слово, слово искреннего участия от далекого неизменного друга, он забывает гнетущее его горе хоть ненадолго, хотя на час, на минуту. Он совершенно счастлив. А минута полного счастия, говорят, заменяет бесконечные годы самых тяжелых испытаний!

Прочитывая эти строки, вы улыбнетесь, обожаемый мой друже. И, чего доброго, подумаете, не терплю ли и я какого-нибудь испытания, потому что так красно рассуждаю об испытании. Божусь вам, у меня никакого горя, а так что-то взгрустнулось. Я совершенно счастлив, да и может ли быть иначе, имея таких друзей, как вы и милый незабвенный Виля. Немногим из людей выпадает такая сладкая участь, как выпала на мою долю. И если бы не вы, пролетела бы мимо меня слепая богиня, но вы ее остановили над заброшенным бедным замарашкой. О боже мой! боже мой! я так счастлив, так беспредельно счастлив, что мне кажется, я задохнуся от этой полноты счастия, задохнуся и умру. Мне непременно нужно хоть какое-нибудь горе, хоть ничтожное. А то сами посудите: что бы я ни задумал, чего бы я ни пожелал, мне все удается. Все меня любят, все ласкают, начиная с нашего великого маэстро. А его любви, кажется, достаточно для совершенного счастия.

Он часто заходит ко мне на квартиру, иногда даже и обедает у меня. Скажите, мог ли я тогда думать о таком счастии, когда я в первый раз увидел его у вас, в этой самой квартире. Многие и весьма многие вельможи-царедворцы не удостоены такого великого счастия, каким я, неизвестный нищий, пользуюсь. Есть ли на свете такой человек, который не позавидовал бы мне в настоящее время?

На прошедшей неделе заходит ко мне в класс, взглянул на мой этюд, сделал наскоро кое-какие замечания и вызывает меня на пару слов в коридор. Я думал, что и бог знает какой секрет. И что же? Он предлагает мне ехать с ним вместе на дачу к Уваровым обедать. Мне не хотелося оставить класс. И я начал было отговариваться, но он мои резоны назвал школьничеством и неуместным прилежанием и сказал, что один класс ничего не значит пропустить. "А главное, — прибавил он, — я вам дорогою прочитаю такую лекцию, какой вы и от профессора эстетики никогда не услышите". Что я мог сказать на это? Убрал палитру и кисти, переоделся и поехал. Дорогой, однако ж, и помину не было об эстетике. За обедом, как обыкновенно, был общий веселый разговор, а после обеда уже началась лекция. Вот как было дело.

В гостиной, за чашкой кофе, старик Уваров завел речь о том, как быстро летят часы и как мы не дорожим этими алмазными часами. "Особенно юноши", — прибавил старик, глядя на сыновей своих. "Да вот вам животрепещущий пример, — подхватил Карл Павлович, показывая на меня. — Он сегодня оставил класс, чтоб только побаклушничать на даче". Меня как кипятком обдало. А он, ничего не замечая, прочитал мне такую лекцию о всепожирающем быстролетящем времени, что я теперь только почувствовал и понял символическую статую Сатурна, пожирающего детей своих. Вся эта лекция была прочитана с такой любовью, с такой отцовской любовью, что я тут, в присутствии всех гостей, заплакал, как ребенок, уличенный в шалости.

После всего этого, скажите, чего мне еще недостает? Вас! Только одного вашего присутствия недостает мне. О! дождусь ли я той радостной великой минуты, в которую обниму вас, моего родного, моего искреннего друга? А знаете что? Не напишите вы мне, что вы приедете ко мне к святой, я непременно посетил бы вас прошедшею зимой. Но, видно, святые в небе позавидовали моему земному счастию и не допустили этого радостного свидания.

Несмотря, однако ж, на всю полноту моего счастия, мне иногда бывает так невыносимо грустно, что я не знаю, куда укрыться от этой гнетущей тоски. В эти страшно продолжительные минуты одна только очаровательная моя ученица имеет на меня благотворное влияние. И как бы мне хотелось тогда раскрыть ей мою страдающую душу! разлиться, растаять в слезах перед нею... Но это оскорбит ее девственную скромность. И я себе скорее лоб разобью о стену, чем позволю оскорбить какую бы то ни было женщину, тем более ее. Ее, прекрасную и пренепорочную отроковицу.

Я, кажется, писал вам прошедшей осенью о моем намерении написать с нее весталку в пандан прилежной ученицы. Но зимою трудно было достать лилии или белой розы, а главное, мне мешал несносный мичман. Теперь же эти препятствия устранены, и я думаю между делом, т. е. между программою, привести в исполнение мой задушевный

проект. Тем более это возможно, что программа моя немногосложна, всего три фигуры. Это — Иосиф толкует сны своим соузникам, виночерпию и хлебодару. Сюжет старый, избитый, и поэтому-то нужно хорошенько его обработать, т. е. сочинить, механической работы тут немного. А впереди еще с лишком три месяца времени. Вы мне пишете о важности моей, быть может, последней программы. И советуете как можно прилежнее изучить ее, или, как вы говорите, проникнуться ею. Все это прекрасно, и я совершенно убежден в необходимости всего этого. Но, единственный мой друже! Я боюся выговорить. "Весталка" меня более и постоянно занимает. А программа — это второй план "Весталки". И как я ни стараюсь поставить ее на первый план, — нет, не могу. Уходит, и что бы это значило — не знаю. Думаю прежде окончить "Весталку" (она у меня уже давно начата). Окончу, да и с рук долой, тогда свободнее примуся за программу.

Программа! Я что-то недоброе предчувствую с моею программой. И откуда берется это роковое предчувствие? Не отказаться ли мне от нее до следующего года? Но потерять год времени! Чем вознаградится эта потеря? Верным успехом. А кто поручится за этот успех? Не правда ли, я болен? Я действительно немножко как будто бы рехнулся. Я становлюсь похожим на "Метафизика" Хемницера . Бога ради, приезжайте, восстановите мою падающую душу.

Какой же я бессовестный эгоист! На каком основании я почти требую вашего визита? Во имя какой разумной идеи вы должны оставить ваши занятия, ваши обязанности и ехать за тысячу верст для того только, чтобы увидеть какого-то полуидиота?

Прочь недостойное малодушие! Ребячество, ничего больше. А я уже, слава богу, допущен к программе на первую золотую медаль. Я уже человек кончающий... нет, нет, художник, начинающий свою, быть может великую, карьеру. Мне стыдно перед вами, мне стыдно самого себя. Если только не имеете крайней надобности, то, бога ради, не ездите в столицу, не приезжайте по крайней мере до тех пор, пока я не окончу мою программу и мою задушевную "Весталку". А тогда, если

приедете, т. е. к выставке, о, тогда моя радость, мое счастие будет бесконечно.

Еще одно и странное, и постоянное мое желание: мне ужасно хочется, чтобы вы хоть мимоходом взглянули на модель моей "Весталки", т. е. на мою ученицу. Не правда ли, странное, смешное желание? Мне хочется показать вам ее, как самое лучшее, прекраснейшее произведение божественной природы. И, о самолюбие! Как будто и я споспешествовал нравственному украшению этого чудного создания, т. е. выучил русской грамоте. Не правда ли, я бесконечно самолюбив? А кроме шуток, грамотность придала ей какую-то особенную прелесть. Один маленький недостаток в ней, и это маленькое несовершенство недавно я заметил: она, как мне кажется, неохотно читает. А тетенька ее давно уже перестала восхищаться своей грамотницей Пашей. После праздников дал я ей прочитать "Робинзона Крузо". Что ж бы вы думали? Она в продолжение месяца едва-едва прочла до половины. Признаюсь вам, такое равнодушие меня сильно огорчило. Так огорчило, что я начал уже раскаиваться, что и читать ее выучил. Разумеется, я ей этого не сказал, а только подумал. Она же как будто подслушала мою думу. На другой же день дочитала книгу и ввечеру за чаем с таким непритворным увлечением и с такими подробностями рассказала бессмертное творение Дефо своей равнодушной тетеньке, что я готов был расцеловать свою умницу ученицу. В этом отношении я нахожу много общего между ей и мною. На меня иногда находит такое деревянное равнодушие, что я делаюся совершенно ни на что не способен. Но со мною, слава богу, эти припадки непродолжительны бывают, а она... И что для меня непонятно? С тех пор, как оставил меня неугомонный мичман, сделалась как-то особенно скромнее, задумчивее и равнодушнее к книге. Неужели она?.. Но я этого допустить не могу: мичман — создание чисто антипатическое, жесткое, и едва ли может он заинтересовать женщину самой грубой организации. Нет, это мысль нелепая. Она задумывается и впадает в апатию просто оттого, что ее возраст такой, как уверяют нас психологи.

Я вам надоедаю своею прекрасною моделью и ученицей. Вы, чего доброго, пожалуй, подумаете, что я к ней неравнодушен. Оно действительно на то похоже. Она мне чрезвычайно нравится, но нравится, как что-то самое близкое, родное. Нравится, как самая нежная сестра родная.

Но довольно о ней. А кроме ее в настоящее время мне и писать вам больше не о чем. О программе теперь писать еще нечего, она едва подмалевана. Да и по окончании ее я вам писать не буду. Мне хочется, чтобы вы о ней в газете прочитали. А больше всего мне хочется, чтобы сами ее увидали. Я говорю с такою самоуверенностью, как будто уже все кончено, остается только медаль взять из рук президента и туш на трубах прослушать.

Приезжайте, мой незабвенный, мой сердечный друг. Без вас мой триумф неполный будет. Потому неполный, что вы один-единственный виновник моего настоящего и будущего счастья.

Прощайте, мой незабвенный благодетель. Не обещаю вам писать вскоре. Проищите!

P. S. Бедный Демский и вскрытия Невы не дождался: умер, и умер, как истинный праведник, тихо, спокойно, как будто бы заснул. В больнице Марии Магдалины мне часто удавалося наблюдать за последними минутами угасающей жизни человека. Но такого спокойного, равнодушного расставанья с жизнью я не видел. За несколько часов перед кончиной я сидел у его кровати и читал вслух какую-то брошюру легкого содержания. Он слушал, закрывши глаза, и по временам едва заметно приподымались у него углы рта; это было что-то вроде улыбки. Чтение продолжалось недолго. Он раскрыл глаза и, обратя их на меня, едва слышно проговорил:

— И охота же вам на такие пустяки дорогое время тратить. — И, переведя дух, прибавил: — Лучше бы рисовали что-нибудь. Хоть с меня.

— Со. мной по обыкновению была книжка, или так называемый альбом, и карандаш. Я начал очерчивать его сухой, резкий профиль. Он опять взглянул на меня и сказал, грустно улыбаясь: — Не правда ли, спокойная модель? — Я продолжал рисовать. Тихонько растворилася дверь, и в дверях, обернутое чем-то грязным, показалося грязное лицо квартирной хозяйки, но, увидя меня, спряталося, и дверь притворилась. Демский, не раскрывая глаз, улыбнулся и дал знак рукою, чтобы я наклонился, к нему. Я наклонился. Он долго молчал и, наконец, едва внятно, со вздрагиванием проговорил: — Заплатите ей, бога ради, за квартиру. Даст бог, сквитаемся. — Со мною не было денег, и я тотчас пошел на квартиру. Дома меня, не помню, что-то задержало. Тетушкин кофе или что-то в этом роде. Не помню. Пришел я к Демскому уже перед закатом солнца. Комнатка его была освещена ярко-оранжевым светом заходящего солнца. Так ярко, что я должен был на несколько минут глаза зажмурить. Когда я раскрыл глаза и подошел к кровати, то под одеялом уже остался только труп Демского, в таком точно положении, как я его оставил живым. Складки одеяла не сдвинулись с места, улыбка на пол-линии не изменилась, глаза закрыты, как у спящего. Так спокойно умирают только праведники, а Демский принадлежал к сонму праведников. Я сложил ему на груди полуостывшие руки, поцеловал его в холодное чело и прикрыл одеялом. Нашел хозяйку, отдал ей долг покойника, просил распорядиться похоронами на мой счет, а сам пошел к гробовщику. На третий день пригласил я священника из церкви св. Станислава, взял ломового извозчика, и с помощию дворника вынесли и поставили скромный гроб на роспуски и двинулися с Демским в далекую дорогу. За гробом шел я, патер Посяда и маленький причетник. Ни одна нищая не сопутствовала нам, а их немало встречалось дорогою. Но эти бедные тунеядцы, как голодные собаки, носом чуют милостыню. От нас они не предвидели подачи и не ошиблись. Ненавижу я этих отвратительных промышленников, спекулирующих именем Христовым. С кладбища пригласил я патера на квартиру покойника, не с тем, чтобы тризну править, а затем, чтобы показать ему скромную библиотеку Демского. Вся библиотека заключалась в небольшом, едва сколоченном ящике и состояла из 50-ти с чем-то томов, большею частию исторического и

юридического содержания, на языках греческом, латинском, немецком и французском. Ученый патер весьма неравнодушно перелистывал греческих и римских классиков весьма скромного издания, а я откладывал книги только на французском языке. И странно, кроме Лелевеля, на польском языке только один крошечный томик Мицкевича самого лубочного познанского издания. Больше ничего не было. Неужели он не любил своей родной литературы? Не может быть. Когда библиотека была разобрана, я взял себе французские книги, а все остальные предложил ученому патеру. Добросовестный патер никак не соглашался приобрести такое сокровище совершенно даром. И предложил на свой счет положить гранитную плиту над прахом Демского. Я с своей стороны предложил половину издержек. И мы тут же определили величину и форму плиты и надпись сочинили. Надпись самая нехитрая:

"Leonard Demski, mort. anno l8..." Покончивши все это и взявши всякий свою долю наследства, мы расстались, как давнишние приятели.

Странно, однако ж, неужели покойный Демский не приближал к себе и сам не приближался ни к кому, кроме меня? В квартире его я никогда никого не встречал. Но когда, выходили мы с ним на улицу, на улице часто встречались его знакомые, по-приятельски здоровались, а некоторые даже пожимали ему руку. И все это были люди порядочные. И то правда, так называемый порядочный человек посетит труженика бедняка в его мрачной лачуге? Грустно! Бедные порядочные люди!

Прощайте еще раз. Не забывайте меня, мой незабвенный благодетель".

Из этого пространного и пестрого письма я вычитал, во-первых, что художник мой, как и следует быть истинному. художнику, в высокой степени благородный и кроткий человек. Простые люди не могут так искренно, так бескорыстно прилепляться к таким горьким, всеми покинутым беднякам, каков был покойник Демский. В этой прекрасной, бескорыстной привязанности я ничего не вижу особенного; это

обыкновенное следствие взаимного сочувствия ко всему великому и прекрасному в науке и в человеке. По своей природе и по завещанию нашего божественного учителя мы все должны быть таковы. Но, увы! весьма и весьма немногие из нас соблюли святую заповедь его и сохранили свою божественную природу в любви и целомудрии. Весьма немногие! И потому-то нам и кажется необыкновенным чем-то человек, любящий бескорыстно, человек истинно благородный. Мы, как на комету, смотрим на такого человека. И, насмотревшись досыта, и чтобы наше грязное, себялюбивое существо не так резко самим нам бросалось в глаза, начинаем и его, чистого, пачкать, сначала скрытой клеветой, потом явной, а когда и эта не взяла, обрекаем его на нищету и страдания. Это еще счастье, если запрем в дом умалишенных. А то просто вешаем, как самого гнусного злодея. Горькая, но, увы, истина!

Я, однако ж, некстати зарапортовался.

Второе, что я вычитал из нескладного письма моего возлюбленного художника, — это то, что он, сердечный, сам того не замечая, влюбился по уши в свою хорошенькую вертлявую ученицу. Это в порядке вещей. Это хорошо, это даже необходимо, тем более художнику, а иначе закоптится сердце над академическими этюдами. Любовь есть животворящий огонь в душе человека. И все, созданное человеком под влиянием .этого божественного чувства, отмечено печатью жизни и поэзии. Все это прекрасно, но только вот что. Эти, как называет их Либельт , огненные души удивительно как неразборчивы в деле любви. И часто случается, что истинному и самому восторженному поклоннику красоты выпадает на долю такой нравственно безобразный идол, что только дым кухонного очага ему впору, а он, простота, курит перед ним чистейший фимиам. Очень и очень немногим этим огненным душам сопутствовала гармония. От Сократа, Бергема и до наших дней одна и .та же безобразная нескладица в обыденной жизни. И, к. большому горю, эти огненные души влюбляются совсем не по-кавалерийски, а хуже всякого самого мизерного пехотинца, т. е. на всю жизнь. Вот что для меня непонятно и чего я боюся в моем художнике. Пожалуй, и он, по примеру всемирных гениев, закабалит свою нежную, восприимчивую

душу какому-нибудь сатане в юбке. И хорошо еще, если он, подобно Сократу и Пуссену, шуточкой отделается от домашней сатаны и пойдет своею дорогой, а в противном случае — прощай, искусство и наука, прощай, поэзия и все очаровательное в жизни, прощай навеки. Сосуд разбит, драгоценное миро пролито и с грязью смешано, а лучезарный светильник мирной артистической жизни погас от ядовитого дыхания домашней медяницы. О, если бы могли эти светочи мира обойтись без семейного счастия, как бы прекрасно было! Сколько бы великих произведений не потонуло в этом домашнем омуте, а остались бы на земле в назидание и наслаждение человечеству. Но, увы! и для гения, вероятно, как и для нашего брата, домашний камин и семейный кружок необходим. Это, верно, потому, что для души, чувствующей и любящей все возвышенно-прекрасное в природе и в искусстве, после высокого наслаждения этой обаятельной гармонией необходим душевный отдых. А сладкий этот успокоитель утомленного сердца может существовать только в кругу детей и доброй, любящей жены. Блажен! стократ блажен тот человек и тот художник, чью так несправедливо называемую прозаическую жизнь осенила прекрасная муза гармонии. Его блаженство, как господний мир, необъятно.

В наблюдениях своих по делу семейного счастия я вот что заметил. Замечание мое относится вообще к людям, но в особенности к вдохновенным поклонникам всего благого и прекрасного в природе. Они-то, бедные, и бывают тяжкою жертвою своего обожаемого идола — красоты. И их винить нельзя, потому что красота вообще, а красота женщины в особенности, действует на них всесокрушительно. Иначе и быть не может. А это-то и есть мутный, всеотравляющий источник всего прекрасного и великого в жизни.

— Как так? — закричат неистовые юноши. — Красавица богом созданная для того только, чтоб услаждать нашу исполненную слез и треволнений жизнь.

Правда. Назначение ее от бога такое. Да она-то или, лучше сказать, мы ухитрилися изменить ее высокое божественное назначение. И

сделали из нее бездушного, безжизненного идола. В ней одно чувство поглотило все другие прекрасные чувства. Это эгоизм, порожденный сознанием собственной всесокрушающей красоты. Мы еще в детстве дали ей почувствовать, что она будущая раздирательница и зажигательница сердец наших. Правда, мы ей только намекнули, но она так это быстро смекнула, так глубоко поняла и почувствовала эту будущую силу, что с того же рокового дня сделалася невинной кокеткой и домогильной поклонницей собственной красоты; зеркало сделалося единственным спутником ее жалкой одинокой жизни. Ее не может переменить никакое воспитание в мире. Так глубоко упало случайно брошенное нами зерно себялюбия и неизлечимого кокетства.

Таков результат моих наблюдений над красавицами вообще, а над привилегированными красавицами в особенности. Привилегированная красавица ничем не может быть, кроме красавицы. Ни любящей кроткою женою, ни доброй, нежной матерью, ни даже пламенной любовницей. Она деревянная красавица, и ничего больше. И было бы глупо с нашей стороны и требовать чего-нибудь больше от дерева.

Вот почему я и советую любоваться этими прекрасными статуями издали, но никак с ними не сближаться, а тем более не жениться, в особенности художникам и вообще людям, посвятившим себя науке или искусству. Если необходима красавица художнику для его любимого искусства, для этого есть натурщицы, танцовщицы и прочие мастерицы цеховые. А в доме ему, как и простому смертному, необходима добрая, любящая женщина, но никак не привилегированная красавица. Она, привилегированная красавица, на одно только мгновение осветит яркими, ослепительными лучами радости мирную обитель любимца божия; а потом, как от мелькнувшего метеора, так от этой мгновенной радости и следа не останется. Красавице, как и истинной актрисе, необходима толпа поклонников, истинных или ложных, для нее все равно, как для .древнего идола: были бы поклонники, а без них она, как и древний кумир, прекрасная мраморная статуя, и ничего больше.

"Не всякое слово в строку", — говорит наша пословица, бывают же исключения и между красавицами: природа бесконечно разнообразна. Я глубоко верую в это исключение, но верю, как в самое необыкновенное явление; потому я так осторожен, в своем веровании, что проживя уже между порядочными людьми с лишком полвека, а такого чудного явления не случилось мне видеть. А нельзя сказать, чтобы я принадлежал к числу мизантропов или к числу беспардонных хулителей всего прекрасного. Напротив, я самый неистовый поклонник прекрасного как в самой природе, так и в божественном искусстве.

Недавно со мною вот что случилось. Далеко, очень далеко от порядочного или цивилизованного общества, в захолустье, почти необитаемом, досталось мне случайно прозябать довольно не короткое время. И в это самое захолустье залетела, только не случайно, светская красавица, — такою, по крайней мере, она впоследствии сама себя называла. Вот я знакомлюсь, а я, нужно вам заметить, на знакомства не очень туг. Знакомлюсь, наблюдаю новую знакомку-красавицу, и — о чудо из чудес! Ни тени сходства с прежде виденными мною красавицами. "Не одичал ли я в этой пустыне?" — думаю себе. Нет, во всех отношениях прекрасная женщина. И умная, и скромная, и даже начитанная, и, что называется, ни тени кокетства. Мне совестно самому стало моей наблюдательности, и я всякую недоверчивость в сторону и делаюся не то что поклонником, — это ремесло мне не далось, — а делаюся добрым, искренним приятелем. Не знаю за что, но и я ей понравился, и мы сделались почти друзьями. Я не навосхищаюсь моим открытием, так даже, что в старом сердце пошевелилось больше обыкновенной простой привязанности: чуть-чуть было не сыграл роль водевильного старого дурака. Случай спас. И самый обыкновенный случай. Однажды поутру, — я был принят ими в доме как свой, так что они меня часто на утренний чай приглашали, — так однажды поутру я заметил у нее под самым затылком в мелкие косочки заплетенные волосы. Мне это открытие не понравилось. Я прежде думал, что у нее естественно завиваются волосы на затылке, а это вот что. И это-то самое открытие остановило меня к признанию в любви. Я снова стал простым добрым приятелем. Почти ежедневно разговаривая о

литературе, музыке и прочих искусствах, с образованной женщиной совестно же сплетничать. В этих разговорах я заметил, и то уже на другой год, что она весьма поверхностна и о прекрасном в искусстве или в природе говорит довольно равнодушно. Это немного. поколебало мою веру. Далее. Нет на свете на немецком и русском языке такой книги, которой бы она не читала, и ни одной не помнит. Я спросил причину. Она сослалася на какую-то женскую болезнь, которая отшибла у нее память еще в девицах. Я простодушно поверил. Только замечаю: какие-нибудь пошленькие стишки, читанные ею еще в девицах, она и теперь читает наизусть. После этого мне стало совестно говорить с нею о литературе. А после этого вскоре я заметил, что у них ни одной книжки в доме, окроме памятной на текущий год. По вечерам зимою она играла в карты, если собиралась партия, но это из приличия, а того и не замечал, что она была ужасно не в духе, ежели ей не удавалось составить партию. У нее сейчас же начинала страшно голова болеть. Если же партия собиралась у мужа, то она как ни в чем не бывало садилась около стола и смотрела в карты игроков, как бы в свои собственные карты, и это милое занятие часто продолжалось у нее далеко за полночь. Я, как только начиналась эта бездушная сцена, сейчас же уходил на улицу. Отвратительно видеть молодую прекрасную женщину за таким бесчувственным занятием. Я тогда совершенно разочаровывался; и она казалась мне тогда полипом, или, вернее, настоящей привилегированной красавицей.

И если бы продлилось ее уединение еще год-другой в этом темном углу без кровожадных обожателей, т. е. без львов и онагров, я уверен, что она бы одурела или сделалась бы настоящей идиоткой. Состояния полуидиотки она уже достигла. А я-то, я-то, простофиля! Вообразил себе, что вот, наконец, открыл Эльдорадо . А это Эльдорадо — просто деревянная кукла, на которую я впоследствии не мог смотреть без отвращения.

Прочитывая эту грозную сентенцию красавицам, иной подумает, что я второй Буонарроти в этом роде. Ничего не бывало. Такой же самый поклонник, как и любой из леопардов, а может быть, еще и

неукротимее. А дело в том, что люблю открывать мои убеждения во всей их наготе, несмотря на чин и звание. Притом же я это делаю теперь собственно для друга моего художника, а не с намерением печатать свое мнение о красавицах. Боже меня сохрани от этой глупости. Да меня тогда сестра родная готова б была повесить на первой осине, как Иуду-предателя. Впрочем, она не красавица, ее нечего опасаться.

Где же начало этого зла? А вот где: начало в воспитании. Если нежных родителей бог благословит красавицей дочечкой, они сами начинают ее портить, предпочитая ее другим детям. А о образовании своей любимицы они вот что думают и даже говорят: "Зачем напрасно убивать дитя над пустою книгою? Она и без книги и даже без приданого сделает себе блестящую карьеру". И красавица действительно делает блестящую карьеру. Предсказание родителей сбылось, чего же больше? Это начало зла. А продолжение (я, впрочем, не уверяю, а только предполагаю), продолжение вот где.

Наше любезное славянское племя хотя и причисляется к семейству кавказскому, но наружностию своею немногим взяло перед племенами финским и монгольским, Следовательно, у нас красавица — явление весьма редкое. И это редкое явление едва только из пеленок, мы начинаем его набивать своими нелепыми восторгами, себялюбием и прочею дрянью. И, наконец, делаем из нее деревянную куклу на шарнирах, наподобие той, какую живописцы употребляют для драпировок.

В странах, которые бог благословил породою прекрасных женщин, там они должны быть обыкновенными женщинами. А обыкновенная женщина, по-моему, есть самая лучшая женщина.

К чему же это я развел такую длинную рацею о раздирательницах сердец человеческих, в том числе и моего? Кажется, в назидание моему другу. Но я думаю, что это наставление будет для него совершенно лишнее. Да и весталка его, сколько мог я заключить из его описаний,

едва ли способна залезть поглубже в сердце художника, который так прекрасно чувствует и понимает все возвышенно-прекрасное в природе, как мой приятель. Это должна быть быстроглазая, курносенькая плутовка, вроде швеи или бойкой горничной. А подобные субъекты не редкость, и они совершенно безопасны.

А вот такие субъекты, как ее шелковая тетушка, они тоже нередки, но чрезвычайно опасны. Тетушка ее, хотя ,. и сладко он ее описывает, напоминает мне гоголевскую сваху, которая отвечает на вопрос искателя невесты, оженит ли она его? "Ох, оженю, голубчик! Да так ловко, что и не услышишь". Приятель мой, разумеется, не имеет ничего общего с гоголевским героем, и в этом отношении я за него почти не опасаюсь. Огонь первой любви хотя и жарче, но зато и короче. Но опять, как подумаю, нельзя и не опасаться, потому что эти удивительные браки без услышанья очень часто случаются не только с умными, но даже с осторожными людьми.

А в друге моем я большой осторожности не предполагаю. Эта добродетель — не художника. На всякий случай я написал ему письмо, разумеется, не назидательное (боже меня сохрани от этих назидательных посланий). Я написал ему дружески-откровенно, чего я опасаюсь и чего он должен опасаться. Указал ему без церемонии на милую тетеньку, как на самую главную и самую опасную западню. На письмо мое я не получил, однако ж, ответа: вероятно, оно ему не понравилось. А это худой знак. А впрочем, в продолжение лета он был занят программой, так немудрено, что мог и забыть о моем письме.

Прошло лето, прошел сентябрь и октябрь месяц, приятель мой ни слова. Читаю в "Пчеле" разбор выставки, бойко написанный, должно быть, Кукольником. "Весталку" моего друга превозносят до небес, а о программе ни слова. Что бы это значило.? Неужели она ему не удалась? Я написал ему еще письмо, прося его объяснить мне свое упорное молчание, о программе и вообще о его занятиях не упоминая ни слова, зная из опыта, как неприятно отвечать на приятельский вопрос: каково идет работа? — когда работа идет скверно. Через месяца два получил я

на письмо мое ответ. Ответ лаконический и крайне бестолковый. Он как бы стыдился или боялся высказать мне откровенно то, что его терзало, а его что-то ужасно терзало. Между прочим, в письме своем он намекает на какую-то неудачу (вероятно, на программу), которая его чуть в гроб не свела. И если он существует на свете, то существованием своим он обязан добрым своим соседям, которые в нем приняли самое живое, самое искреннее участие; что он теперь почти ничего не работает, страдает и душевно, и физически и не знает, чем все это кончится.

На все это я смотрел, — разумеется, как на преувеличение. Это обыкновенно в молодых восприимчивых натурах: они всегда делают из мухи слона. Мне хотелося узнать что-нибудь обстоятельнее о его положении. Меня что-то беспокоило. Но как, от кого? От самого его я толку не добьюся. Я обратился к Михайлову, прося его написать мне все, что он знает о моем друге. Обязательный Михайлов не заставил долго ждать своего оригинального и откровенного послания. Вот что написал мне Михайлов:

"Друг твой, брат, дурак. Да еще какой дурак. От сотворения мира не было еще такого необыкновенного дурака. Ему, видишь ли, не удалась программа; что же он сделал с отчаяния? Вот уже не отгадаешь: женился. Ей-богу, женился. И знаешь на ком? На своей весталке! Да еще на беременной. Вот потеха! Беременная весталка. И, как он сам говорит, беременность именно и заставила его жениться. Но не думай, чтобы он сам был причиной этого греха. Ничего не бывало. Это бестия мичман напакостил. Она сама созналась. Молодец мичман! Накуралесил да и уехал себе в Николаев как ни в чем не бывало. А твой-то великодушный дурак и — бух, как кур во щи. Куда, говорит, она теперь денется? Кто ее приютит теперь, бедную, когда родная тетка выгоняет из дому? Взял да и приютил. Ну, скажи сам, видал ли ты подобного дурака на белом свете? Верно, и не слыхал даже. Правду сказать, беспримерное великодушие. Или, вернее, беспримерная глупость. Это все еще ничего. А вот что до бесконечности смешно. Он написал с нее свою "Весталку", с беременной. Да как написал! Просто прелесть.

Такого, такой наивно-невинной прелести я еще не видывал ни на картине, ни в природе. На выставке толпа от нее не отходила. Она сделала в публике такой шум, как, помнишь, когда-то сделала "Девушка с тамбурином" Тыранова . Превосходная вещь! Сам Карл Павлович перед нею много раз останавливался. А это что-нибудь да значит. Ее купил какой-то богатый вельможа и хорошо заплатил. Копий и литографий с нее — во всех лавках и на всех перекрестках. Одним словом, успех полный. А он, дурак, женился. На днях я заходил к нему и нашел в нем какую-то неприятную перемену. Тетушка, кажется, его прибрала к рукам. У Карла Павловича он никогда не бывает. Вероятно, стыдится. Начал он с своей жены и не с своего дитяти мадонну с предвечным младенцем. И если он кончит так хорошо, как начал, то это превзойдет "Весталку". Экспрессия младенца и матери удивительно хороша. Как это ему не удалась программа, я удивляюсь. Не знаю, допустят ли его, как женатого, будущий год к конкурсу. Кажется, нет. Вот все, что я могу тебе сообщить о твоем бестолковом друге. Прощай. Карл Павлович наш не совсем здоров; весною думает начать работать в Исакиевском соборе.

Твой М."

Невыразимая грусть овладела мною по прочтении этого простого приятельского письма. Блестящую будущность моего любимца, моего друга я видел уже оконченною, оконченною на самом рассвете лучезарной славы. Но помочь горю уже было невозможно. Как человек, он поступил неблагоразумно, но в высокой степени благородно. Будь он простой живописец-ремесленник, это событие не имело бы на его занятия никакого влияния. Но на него, на художника, на художника истинно пламенного, это может иметь самое гибельное влияние. Потерять надежду быть посланным за границу на казенный счет — этого одного достаточно, чтобы уничтожить самую сильную энергию. На свой счет побывать за границей — об этом ему теперь и думать нечего. Если усиленный труд и даст ему средства, то жена и дети отнимут у него эти бедные средства прежде, нежели он подумает о Риме и его бессмертных чудесах.

Итак,

Италия, счастливый край,

Куда в волшебном упоеньи

Летит младое вдохновенье

Узреть мечтательный свой рай, —

этот счастливый, очаровательный край закрылся для моего друга навсегда. Разве какой необыкновенный случай раскроет ему двери этого не мечтательного рая. Но эти случаи весьма и весьма даже редки. У нас перевелися те истинные покровители, которые давали художнику деньги, чтобы он ехал за границу и учился. У нас теперь если и рискнет какой-нибудь богач на подобную роскошь, то из одного только детского тщеславия. Он берет художника с собою вместе за границу, платит ему жалованье, как наемному лакею, и обращается с ним, как с лакеем, заставляет его рисовать отель, где он остановился, или морской берег, где жена его принимает морские ванны, и тому подобные весьма нехудожественные предметы. А простофили барабанят: "Вот истинный любитель и знаток изящного, художника с собою возил за границу!" Бедный художник! Что в твоей кроткой душе совершается при этих неистовых глупых возгласах? Не завидую тебе, бедный поклонник прекрасного в природе и искусстве. Ты, как говорится, был в Риме и папы не видал. И слава, что ты был за границею, тебе должна казаться жесточайшим упреком. Нет, лучше с котомкой идти за границу, нежели с барином ехать в карете. Или вовсе отказаться видеть

Мечтательный свой рай,

а приютиться где-нибудь в уголку своего прозаического отечества и втихомолку поклоняться божественному кумиру Аполлона.

Глупо, удивительно как глупо распорядился своею будущностию мой приятель. Вот уже недели две, как я ежедневно прочитываю откровенное письмо Михайлова и все-таки не могу убедиться в истине этой непростительной глупости. До того не верится, что мне приходит иногда мысль побывать самому в Петербурге и собственными глазами увидеть эту отвратительную истину. Если бы это было каникулярное время, я и не задумался бы. Но, к несчастию, теперь учебные месяцы. Следовательно, отлучка если и возможна, то только двадцативосьмидневная. А в половину этих дней что я могу сделать для него? Ровно ничего, увижу разве только то, чего бы не желал и во сне видеть. Подумавши хорошенько и оправившись от первого впечатления, я решился ждать, что скажет старый Сатурн . А между тем завести постоянную переписку с Михайловым. На его письма я потерял надежду. А надежда на письма Михайлова совершенно не сбылася. Рассчитывая на Михайлова, я упустил из виду, что этот человек менее всего способен к постоянной переписке. И если я получил от него ответ на мое письмо, и так скоро, как и не ожидал, то я должен был считать это осьмым чудом. И по одному письму никак не должно было рассчитывать на постоянную переписку. Делать нечего, ошибся. Да и кто же не ошибается? Сгоряча я написал ему несколько писем. И в ответ не получил ни одного. Это меня не остановило. Я — еще, и чем далее, тем чувствительнее. В ответ ни слова. Наконец я вышел из себя и написал ему грубое и самое недлинное письмо. Это подействовало на Михайлова, и он прислал мне ответ такого содержания:

"Удивляюся, как у тебя хватает терпения, время и, наконец, бумаги на твои уморительные, чтоб не сказать глупые, письма. И о ком ты пишешь? О дураке. Стоит ли он того, чтобы о нем думать, не только писать, да еще такие уморительные письма, как ты пишешь? Плюнь ты на него, — пропавший человек, ничего больше. А чтобы тебя утешить, то я вот еще .что прибавлю. Он вместе с женою и мамашею, как он ее величает, начал тянуть проволоку, т. е. принялся за сивуху. Сначала он повторял все свою "Весталку", и повторял до того, что и на толкучем перестали брать его копии. Потом принялся раскрашивать литографии для магазинов, а теперь не знаю, что он делает. Вероятно, пишет

портреты по цалковому с рыла. Его никто не видит. Забился где-то в Двадцатую линию. В угоду твою я пошел его отыскивать на прошлой неделе. Насилу нашел его квартиру у самого Смоленского кладбища. Самого его не застал дома. Жена сказала, что на сеанс ушел к какому-то чиновнику. Полюбовался его неоконченной "Мадонной". И знаешь ли, мне как-то грустно стало. За что, подумаешь, пропал человек? Не дождавшися его самого, я ушел и с хозяйкой не простился — мне она показалась отвратительною.

Карл Павлович, несмотря на болезнь, начал работать в Исакиевском соборе. Доктора советуют ему оставить работу до будущего года и уехать на лето за границу. Но ему не хочется расставаться с начатой работой. Что ты не приедешь хоть на короткое время в Питер, хоть только взглянуть на чудеса нашего чудотворца Карла Павловича? Да и своим бы дураком полюбовался. Ты, кажется, тоже женился, только не признаешься. Не пиши ко мне, отвечать не буду. Прощай.

Твой М."

Боже мой! Неужели одна-единственная причина, эта несчастная женитьба, могла так внезапно, так быстро уничтожить гениального юношу! Другой причины не было. Печальная женитьба!

С нетерпением ожидал я каникул. Наконец экзамены кончились. Я взял отпуск и марш в Петербург. Карла Павловича я уже не застал в Петербурге. Он, по совету врачей, оставил работу и уехал на остров Мадеру . С большим трудом нашел я Михайлова. Этот оригинал никогда не имел своей постоянной квартиры, а жил как птица небесная. Я встретил его на улице об руку с удалым мичманом, теперь уже лейтенантом. Не знаю, каким родом он очутился снова в Петербурге. Я не мог смотреть на этого человека. Поздоровавшись с Михайловым, я отвел его в сторону и начал спрашивать адрес моего приятеля. Михайлов сначала захохотал, а потом, едва удерживая смех, он обратился к мичману и сказал: "Знаешь ли, чью квартиру он спрашивает? Своего любимца N. N.". И Михайлов снова захохотал.

Мичман ему вторил, но неискренно. Михайлов бесил меня своим неуместным смехом. Наконец он опомнился и сказал мне: "Твой друг живет теперь в самой теплой квартире. На седьмой версте. Его, видишь ли. не допустили к конкурсу, так он, недолго думавши, спятил с ума, да и марш в теплое место. Не знаю, жив ли он теперь? "

Я, не простясь с Михайловым, взял извозчика и отправился в больницу Всех скорбящих. Меня к больному не пустили, потому что он был в припадке бешенства. На другой день я его увидел, и если б не сказал мне смотритель, что № такой-то — художник N. N., то сам бы я никогда его не узнал. Так страшно изменило его безумие. Он меня, разумеется, тоже не узнал. Принял меня за какого-то римлянина с рисунка Пинелли . Захохотал и отошел от решетчатых дверей.

Боже мой, какое грустное явление — обезображенный безумием человек! Я не мог и несколько минут пробыть зрителем этого печального образа. Простился с смотрителем и возвратился в город. Но несчастный друг мой не давал мне нигде покоя. Ни в Академии, ни в Эрмитаже, ни в театре, словом, нигде. Его страшный образ везде преследовал меня. И только ежедневное посещение больницы Всех скорбящих мало-помалу уничтожило первое ужасное впечатление.

Бешенство его с каждым днем становилось слабее и слабее. Зато и силы физические быстро исчезали. Наконец он уже не мог подняться с кровати, и я свободно мог входить к нему в комнату. По временам он как будто приходил в себя, но все еще меня не узнавал. Однажды я приехал поутру рано. Утренние часы были для него легче. Застал я его совершенно спокойного, но так слабого, что он не мог рукою пошевелить. Долго он смотрел на меня, как будто что-то припоминая. После долгого задумчивого, умного взгляда он едва слышно произнес мое имя. И слезы ручьями хлынули из его просветлевших очей. Тихий плач перешел в рыдание, в такое душу терзающее рыдание, что я и не видел, и дай господи не видеть никогда так страшно рыдающего человека.

Я хотел его оставить, но он знаками остановил меня. Я остался. Он протянул руку; я взял его за руку и сел около него. Рыдания мало-помалу утихли, катилися одни крупные слезы из-под опущенных ресниц. Еще несколько минут — и он совершенно успокоился и задремал. Я потихоньку освободил свою руку и вышел из комнаты в полной надежде на его выздоровление. На другой день, также рано поутру, приезжай я в больницу и спрашиваю попавшегося мне навстречу его сторожа:

— Каков мой больной?

И сторож мне ответил:

— Больной ваш, ваше благородие, уже в покойницкой. Вчера как уснул поутру, так и не проснулся.

После похорон я оставался несколько дней в Петербурге, сам не знаю для чего. В один из этих дней встретился мне Михайлов. После рассказа о том, как он провожал вчера мичмана в Николаев и как они кутнули на Средней рогатке, речь зашла о покойнике, о его вдове и, наконец, о его неоконченной "Мадонне". Я просил Михайлова проводить меня на квартиру вдовы, на что он охотно согласился, потому что ему самому хотелося еще раз посмотреть на неоконченную "Мадонну". В квартире покойника мы ничего не встретили, что бы свидетельствовало о пребывании здесь когда-то художника, окроме палитры с засохшими красками, которая теперь заменяла разбитое стекло. Я спросил о "Мадонне". Хозяйка не поняла меня. Михайлов растолковал ей, чтобы она показала нам ту картину, которую когда-то смотрел он у них. Она ввела нас в другую комнату, и мы увидели "Мадонну", служившую заплатой старым ширмам. Я предложил ей десять рублей за картину. Она охотно согласилась. Я свернул в трубку свое драгоценное приобретение, и мы оставили утешенную десятью рублями вдову.

На другой день я простился с моими знакомыми и, кажется, навсегда оставил Северную Пальмиру. Незабвенный Карл Великий уже умирал в Риме.

4 октября 1856